

Опыт рефлексивной социологии

1992

“ Я бы даже скорее уподобил правила Декарта предписаниям некоего химика не припомню, как его зовут): возьмите то, что следует взять, сделайте с этим то, что следует делать, и тогда вы получите то, что хотите получить. Ничего не принимать за вполне очевидное (то есть принимайте только то, что вы должны принять); следовать порядку (порядку, которому вы должны следовать); давать полные перечни (то есть те, которые вы должны дать) — именно так рассуждают те люди, которые говорят, что вы должны стремиться к добру и остерегаться зла. Всё это, конечно, правильно, кроме того, что у вас нет критериев добра и зла.

Лейбниц. Философские сочинения.

I. Передача профессии из поколения в поколение

Сегодня в виде исключения я хотел бы попытаться разъяснить педагогические цели, которые я преследовал в данном семинаре. В следующий раз я попрошу каждого из участников кратко представиться и сказать несколько слов о своих исследованиях — причём я настаиваю на том, чтобы это было сказано как бы невзначай — без какой-либо специальной подготовки. И я жду не формальной презентации — то есть оборонительного дискурса, замыкающегося на себе самом, главная цель которого (хорошо понятная) — изгнать свой страх критики. Я жду скорее простого, не претенциозного, искреннего представления проделанной работы, трудностей, с которыми пришлось столкнуться, и нерешённых проблем. Нет ничего более универсального и объединяющего, чем трудности. Каждому из нас будет довольно приятно обнаружить, что многие трудности, которые мы приписываем нашим индивидуальным особенностям или некомпетентности, универсальны; и всем будет небесполезен весьма конкретный совет, который я могу дать.

Мимоходом хотелось бы отметить, что среди всех диспозиций, с которыми я надеюсь вас познакомить, есть способность воспринять исследование, скорее, как рациональное усилие, нежели своего рода мистические поиски, о которых напыщенно говорят и ради самоутверждения, и с целью преувеличения своего страха или беспокойства. Цель такой

реалистической не циничной) установки — максимальная результативность вашего предприятия и оптимальное распределение ваших ресурсов, начиная со времени, которым вы располагаете. Я знаю, что подобное понимание научной работы в какой-то степени лишено очарования, и что я рискую подпортить имидж, который многим исследователям нравится поддерживать. Однако, возможно, это лучший и единственный способ оградить себя от гораздо более серьёзных разочарований, ожидающих исследователя, который спускается с небес на землю после многих лет самообмана, когда он больше энергии тратил на то, чтобы соответствовать прославленному имиджу исследования и своему представлению об исследователе, чем на то, чтобы просто делать своё дело.

Исследовательская презентация во всех отношениях противоположна демонстрации, шоу, когда вы стремитесь представить себя в выгодном свете и произвести впечатление на других. Это — дискурс, в процессе которого вы раскрываете себя, вы рискуете. (Для того чтобы наверняка ослабить ваши защитные механизмы и нейтрализовать вашу стратегию презентации, которые вам, естественно, хотелось бы использовать, я, разумеется, дам вам слово неожиданно и попрошу вас высказаться без предупреждения и подготовки.) Чем больше вы будете раскрываться, тем больше у вас шансов получить от обсуждения пользу и тем более конструктивными и доброжелательными, я уверен, будут критика и советы, которые вы получите. Наиболее эффективный способ избавиться как от ошибок, так и от страхов, лежащих в их основе, — способность посмеяться над ними вместе с другими, что, как вы скоро обнаружите, происходит довольно часто...

У меня будет возможность — я могу сделать это в следующий раз — представить исследование, которое я сейчас провожу. И тогда вы увидите в состоянии, которое можно назвать «становлением», то есть в сыром и неясном виде, то, что обычно видят лишь в законченном виде. Ното academicus смакует результат. Подобно академическим живописцам (pompier) (Pompier — пожарник (фр.) — Прим. пер.), он или она любят наносить мазки кистью, чтобы скрыть следы исправлений. Временами я испытываю большое беспокойство, открыв для себя, что такие художники, как, например Кутюр, учитель Мане, оставили великолепные эскизы, близкие к импрессионистской живописи (которая противопоставляла себя академической живописи), — но зачастую «портили всё дело» именно потому, что на эти полотна были нанесены последние мазки. Это диктовалось этикой работы, хорошо сделанной и хорошо отшлифованной, её проявление можно было обнаружить в академической эстетике [1].

Я постараюсь представить это исследование в процессе развития и взаимопроникновения составляющих его элементов, в определённых рамках, конечно, так как я хорошо понимаю, что, по понятным социальным причинам, у меня меньше прав на неясности, чем у вас, и что вы будете в меньшей степени склонны признать за мной это право, чем я за вами, и в каком-то смысле это правильно (но это, повторю ещё раз, лишь подразумевая тот педагогический идеал, который, безусловно, сам по себе сомнителен, идеал, который, например, приводит к тому, чтобы определять ценность, педагогическую плодотворность курса соответственно качеству и ясности конспектов).

Art pompier — искусство пожарников — официальное искусство второй половины XIX века. Это название образовано от иронической аналогии между шлемом античного воина,

изображаемого на полотнах художников школы классицизма, и каской пожарного. Этот термин как ироничное обозначение стал применяться не только к академическим художникам-классицистам, но и к преподавателям Школы изящных искусств, членам Общества французских художников и членам Национального общества изящных искусств. (Позже, утратив иронический смысл, он стал просто определением художественного периода 1910–1914 годов. — Прим. пер.)

Одна из функций такого семинара, как наш, — дать вам возможность увидеть, каким образом в действительности осуществляется исследовательская работа. У вас не будет полной записи всех неудач и промахов, всех повторений, говорящих о необходимости сделать последний вариант, который покончит со всеми этими ошибками. Но эта ускоренная съёмка, которую вы увидите, позволит вам понять, что происходит в недрах «лаборатории» или, говоря скромнее, мастерской — в смысле мастерской артиста или художника Кватроченто, — то есть покажет все ошибочные первые шаги, колебания, тупики, отказ от замыслов и тому подобное. Исследователи, работа которых находится на разных этапах, представят объекты, которые они пытались сконструировать, и они должны будут подвергнуться расспросам со стороны всех, кто, подобно старым компаньонам, членам цеха, как они называют себя на традиционном языке собратьев по ремеслу [2], внёс свой вклад в коллективный опыт, который они накапливали в процессе всех прошлых испытаний и ошибок.

На мой взгляд, вершина мастерства в социальных науках заключается в умении быть вовлечённым в очень высокие «теоретические» материи благодаря весьма определённым, а зачастую, несомненно, очень земным, если не ничтожным, эмпирическим объектам. Социальные учёные имеют обыкновение с лёгкостью допускать, что социально-политическая значимость объекта сама по себе служит достаточным основанием необходимости дискурса в отношении к нему. Возможно, этим объясняется, почему те социологи, которые в наибольшей степени склонны приравнивать своё положение к положению своего объекта (как поступают сегодня некоторые из них, связавшие себя с государством или властью), часто уделяют методу самое небольшое внимание. Что на самом деле имеет значение, так это строгость конструирования объекта. Сила (научного) способа мышления никогда не проявляется отчётливее, чем в способности превращать даже незначительные, с социальной точки зрения, объекты в научные объекты (что делал Гофман по отношению к деталям взаимодействия лицом-к-лицу) [3]

Или, что то же самое, в подходе к важным, социально значимым объектам под неожиданным углом зрения — нечто подобное я пытаюсь сейчас делать, изучая влияние государственной монополии на средства легитимного символического насилия с помощью весьма популярного анализа различного рода свидетельств по болезни, по инвалидности, об образовании и так далее). В этом смысле сегодняшний социолог оказывается, *mutatis mutandis* (*Mutatis mutandis* — с соответствующими изменениями (лат.) — Прим. пер.) в положении, весьма сходном с тем, в котором находились Мане или Флорбер: чтобы в полной мере реализовать изобретённый ими способ конструирования реальности, они должны были применить его к объектам, традиционно исключаемым из сферы академического искусства (которое было связано исключительно с социально значимыми людьми и вещами), — что объясняет, почему их обвиняли в «реализме». Социолог вполне мог бы сделать своим девиз

Флобера: «писать хорошо о заурядном».

Мы должны научиться тому, как переводить самые абстрактные проблемы в совершенно практические научные операции, что предполагает, как мы увидим, весьма своеобразное отношение к тому, что обычно называется «теорией» или «исследованием» (эмпирией). В таком деле абстрактные правила, подобные сформулированным в работе «Ремесло социолога» («Le Metier de sociologue», Bourdieu, Chamboredon, and Passeron, 1973; англ. перевод 1991), пусть даже им удаётся заострить наше внимание, принесут нам немного пользы. Поскольку, несомненно, не существует иного способа овладеть фундаментальными принципами практики, — и практика научного исследования здесь не исключение, — кроме как практиковать эти принципы вместе с руководителем или наставником, который снимает сомнения и придаёт уверенность, приводит примеры и поправляет вас, помещая правила, применяемые непосредственно к данному конкретному случаю, в определённую ситуацию.

Конечно, вполне может так случиться, что, прослушав двухчасовое обсуждение преподавания музыки, логики, спортивной борьбы, возникновения дотированных рынков жилья или греческой теологии, вы подумаете, а не потеряли ли вы даром время и научились ли вообще хоть чему-нибудь?

В конце нашего семинара у вас не будет аккуратных конспектов по теории коммуникационного действия, теории систем или хотя бы о понятиях пространства и габитуса. Вместо того чтобы давать формальное представление о категории структуры в современной математике или физике или об условиях применения структурного способа мышления в социологии, как я это обычно делал 20 лет назад [4] (что, несомненно, было более «впечатляющим»), я буду говорить почти те же самые вещи, но в практической форме, то есть с помощью весьма тривиальных замечаний и элементарных вопросов — по сути дела, настолько элементарных, что мы очень часто вообще забываем их задавать — и всякий раз погружаясь в детали каждого отдельного случая. И можно будет реально наблюдать исследование, так как именно это и предполагалось здесь, но только при условии его проведения по-настоящему, вместе с исследователем, который отвечает за него: это значит, что вы работаете над составлением опросника, чтением статистических таблиц или интерпретацией документов, что, если нужно, вы выдвигаете гипотезы и так далее. Ясно, что при таких условиях можно рассмотреть лишь очень немного исследовательских проектов, а тот, кто рассчитывает увидеть их в большом количестве, по сути дела, не будет делать всё, что требуется.

Если то, что должно быть сообщено, составляет, в сущности, *modus operandi* (*Modus operandi* — способ действий (лат.) — Прим. пер.) — способ научного производства, предполагающий определённый способ восприятия, систему принципов видения и различения, — то им нельзя овладеть иначе, как заставить увидеть его в действии или проследить, как этот научный габитус (мы можем называть его и своим именем) «ведёт себя» в ситуации практического выбора — типа выборки, опросника, кодирования и так далее — не объясняя этот выбор в виде формальных правил.

Обучение профессии, ремеслу, делу или, по выражению Дюркгейма (1956. — р. 101), социальному «искусству», понимаемому как «чистая практика без теории», требует

педагогике, совершенно отличной от той, которая нужна для преподавания знания (*savoirs*). Как можно видеть на примере обществ, где нет всеобщей грамотности и школ, — но это относится и к обществам с формальным школьным обучением и даже к самим школам — некоторые способы мышления и действия, а зачастую и самые жизнеспособные из них, передаются на практике (упражнение за упражнением) посредством всеобщего и практического способов передачи. Эти способы основаны на непосредственном и продолжительном контакте между тем, кто обучает, и тем, кто учится («делай, как я») [5]. Историки, философы науки, а особенно сами учёные, часто отмечали, что в значительной мере профессией учёного овладевают, используя способы передачи знаний, которые являются вполне практическими [6]. И роль, которую играет молчаливая педагогика, не терпящая объяснений как передаваемых схем и объяснений, так и рабочих схем в процессе самой передачи, безусловно, гораздо больше в тех науках, где содержание знания, типы мышления и действия сами по себе менее точны и менее систематизированы.

Социология — гораздо более развитая наука, чем обычно полагают даже сами социологи. Возможно, хорошим критерием положения социального учёного в его или её дисциплине может быть сила его представления о том, чем он должен овладеть, чтобы быть на уровне достижений его науки. Склонность развивать скромную оценку ваших научных способностей будет только увеличиваться по мере того, как ваше знание последних современных достижений в области метода, техники, понятий или теорий, будет расти. Однако социология ещё мало систематизирована и формализована.

Поэтому здесь нельзя так, как в других областях, опираться на автоматизм мышления или на автоматизм, замещающий мышление на понятийную очевидность — *evidentia ex terminis*, на «ослепляющую очевидность» символов, которую Лейбниц противопоставлял картезианской ясности — *evidence*) или даже на все эти уставы должного научного поведения: методы, протоколы наблюдений и так далее, являющиеся законом для большинства кодифицированных научных полей. Таким образом, для того чтобы получить соответствующий опыт, следует рассчитывать, прежде всего, на те схемы, которые воплощает в себе *габитус*. Научный *габитус* — это правило «человека с положением» (добившегося успеха), реализованное правило или, лучше, — научный *modus operandi*, функционирующий в практической сфере в соответствии с нормами науки, которые не являются при этом его эксплицитным принципом [7]: именно такого рода научное «чувство игры» (*sens du jeu*) заставляет нас делать то, что мы делаем в нужный момент без необходимости тематизировать то, что должно быть сделано и, ещё меньше, — знание чёткого правила, позволяющего получать этот соответствующий опыт. Так что у социолога, который стремится передать научный *габитус*, гораздо больше общего с высококвалифицированным спортивным тренером, чем с профессором Сорбонны. Он или она очень мало говорят о первичных принципах и общих правилах.

Конечно, он/она может излагать их, как я делал в работе «Ремесло социолога» («*Le metier de sociologue*»), но только если понимает, что не может остановиться на этом: в некотором смысле, нет ничего хуже эпистемологии, когда она становится предметом пустого разговора, очерков [8] и заменителем исследования. Такой социолог учит путём практических советов и в этом смысле сильно напоминает тренера, имитирующего движение («на твоём месте, я сделал бы так...») или «исправляющего» действия по мере их

совершения, в духе самой практики («я бы не задавала этого вопроса, по крайней мере, в такой форме»).

II. МЫСЛИТЬ ОТНОСИТЕЛЬНО

Всё вышесказанное особенно верно, когда речь идёт о конструировании объекта, — несомненно, самой главной исследовательской операции, которую, однако, совершенно игнорируют по доминирующей традиции, сформировавшейся, фактически, вследствие противостояния между «теорией» и «методологией». Парадигмой (в смысле наглядной иллюстрации) «теории» теоретиков является парадигма, предложенная Парсонсом, — этот концептуальный плавильный котёл, созданный благодаря исключительно теоретической компиляции (то есть абсолютно чуждой какому бы то ни было применению) некоторых избранных великих произведений (Дюркгейма, Парето, Вебера, Маршалла, но, что любопытно, — не Маркса), сведённых к их «теоретическому», вернее, профессорскому измерению; или же это — более недавняя теория «нео-функционализма» Джеффри Александера [9]. Возникшие из потребностей преподавания, такие эклектические классификаторские компиляции хороши исключительно для преподавания, а не для других целей. С другой стороны, мы находим «методологию», этот свод правил, который, собственно, не соответствует ни эпистемологии, (понимаемой в качестве рефлексии, цель которой — раскрытие схем научной деятельности с её достоинствами и недостатками), ни научной теории. Я имею здесь в виду Поля Лазарсфельда.

Парсонс и Лазарсфельд вдвоём (Мертон со своими теориями «среднего уровня» находится где-то посередине между ними) создали своего рода «научный» холдинг, весьма могущественный в социальном отношении, который господствовал в мировой социологии на протяжении почти 30 лет после Второй мировой войны [10]. Деление на «теорию» и «методологию» становится эпистемологической оппозицией, которая фактически имеет решающее значение для социального разделения научного труда в определённое время (проявляющееся в противостоянии профессоров и прикладных исследователей) [11]. Я полагаю, что от этого разделения на две отдельные инстанции следовало бы полностью оказаться, поскольку я убеждён, что нельзя обратиться к конкретному, комбинируя две абстракции.

Действительно, самые «эмпирические» технические альтернативы не могут быть свободны от самых «теоретических» альтернатив при конструировании объекта. Лишь в качестве функции определённого конструирования объекта именно этот метод выборки, эта техника сбора данных и их анализа и так далее становятся императивом. Точнее, они становятся таковым лишь в качестве функции ряда гипотез, возникающих на основе системы теоретических предположений, согласно которым любое эмпирическое данное может выполнять функцию доказательства, или, как называют его англо-американские учёные, свидетельства (evidence). Так вот, мы часто поступаем таким образом, будто то, что считается очевидным, и в самом деле очевидно, потому что мы доверяем культурной рутине, чаще всего внушаемой и воспринимаемой в процессе обучения (знаменитые курсы по «методологии» в американских университетах).

Фетишизм понятия «свидетельство» иногда приводит к отрицанию эмпирических работ, не считающих самоочевидным само понятие «свидетельство». Каждый исследователь наделяет статусом «данных» лишь небольшую их часть, однако, не ту часть, которая определяется его или её проблематикой (как это и должно было бы быть), но ту часть, которая выбрана и удостоена этой чести педагогической традицией, в которую эти данные входят, и слишком часто только одной этой традицией и определяются.

Поразительно, что целые «школы» или исследовательские традиции строятся на одной технике сбора или анализа данных. Например, сегодня некоторые этнометодологи ничего не хотят признавать, кроме анализа разговора, сводящегося к интерпретации текста, совершенно игнорирующего данные, касающиеся непосредственного контекста, который можно назвать этнографическим (и который традиционно называется «ситуацией»), и не обращающего внимания на данные, позволяющие поместить эту ситуацию в рамки социальной структуры. Эти «данные», которые сами по себе ошибочно принимаются за конкретные данные, фактически являются продуктом высокой абстракции (что всегда и происходит, поскольку все данные — конструкции), но в данном случае — абстракции, которая сама себя не считает таковой [12]. Точно так же мы находим маньяков логлинейного моделирования, дискурсивного анализа, включённого наблюдения, свободного или глубинного интервьюирования, этнографического описания. Строгое следование какому-то одному методу сбора данных даёт возможность определять его сторонников как «школу»; к примеру, символических интеракционистов можно распознать по их культуре включённого наблюдения, этнометодологов — по их страсти к анализу разговора; изучающих достижение статусов — по их систематическому использованию путевого анализа и так далее. А если смешать дискурсивный анализ с этнографическим описанием, будут с восторгом говорить о крупном достижении и смелом вызове методологическому монотеизму! Можно аналогичным образом критиковать и техники статистического анализа, будь то множественная регрессия, путевой анализ, сетевой анализ, факторный анализ, анализ отдельного случая. И здесь снова, за несколькими исключениями, монотеизму принадлежит высшая власть [13]. Однако самая рудиментарная социология социологии учит нас тому, что обвинения со стороны методологии зачастую — не более чем скрытый способ сделать из нужды добродетель, прикинуться, что отвергаешь и игнорируешь то, о чём, в сущности, не имеешь представления.

Нам также придётся проанализировать риторику представления данных, которая, с одной стороны, превращаясь в (нарочитую) хвастливую демонстрацию данных, часто служит тому, чтобы скрыть элементарные ошибки при конструировании объекта.

А с другой стороны, строгое и экономичное представление относящихся к делу результатов — по меркам такой склонной к самолюбанию презентации сырых данных (*datum bruturri*) — часто будет вызывать априорное подозрение в фетишизации протокола (в двойном значении этого термина) как формы «свидетельства». Бедная наука! Как много научных преступлений совершается во имя твоё! Пытайся превратить всю эту критику в нечто позитивное, скажу только, что мы должны остерегаться любых сектантских расколов, характерных для весьма солидных вероисповеданий. В любом случае мы должны попытаться мобилизовать все техники, уместные и доступные для практического использования, полезные при определении объекта и практических условий сбора данных. К

примеру, можно воспользоваться анализом соответствий для дискурсивного анализа, как я недавно делал это в отношении рекламных стратегий различных фирм, занимающихся строительством односемейных домов во Франции (Bourdieu, 1990), или можно сочетать самый стандартный статистический анализ с рядом глубинных интервью и с этнографическими наблюдениями, что я пытался сделать в работе «Различение» (Bourdieu, 1984).

Будь оно большим или маленьким, социальное исследование — это нечто почти столь же серьёзное, сколь и трудное, чтобы мы могли позволить себе принять неверно истолкованную научную жёсткость — возмездие разума и изобретательности — за научную строгость и таким образом лишать себя той или иной возможности выбирать из всего арсенала интеллектуальных традиций нашей дисциплины или близких к ней антропологии, экономики, истории и так далее. К таким вопросам, хотелось бы отметить, применимо только одно правило: «запрещено запрещать» [14] или остерегайтесь методологических цензоров! Нет нужды говорить, что у крайней свободы, поборником которой я здесь выступаю (которой, как мне кажется, следует придать ясный смысл и которая, позвольте мне сразу же добавить, не имеет ничего общего с некоего рода релятивистским эпистемологическим *laissez-faire*, кажется, весьма модным в некоторых местах), есть её противоположность в виде крайней бдительности, о которой мы должны помнить в случае использования аналитических техник и чтобы обеспечить их соответствие рассматриваемому вопросу. Я часто ловлю себя на мысли, что наша методологическая «полиция» (*peres-la-rigueur*) оказывается вовсе не строгой и даже слабой в использовании тех самых методов, за которые она так ратует.

Возможно, то, что мы будем делать здесь, покажется вам несущественным. Но, во-первых, конструирование объекта — по крайней мере, в моей личной исследовательской практике — это не то, что делается раз и навсегда одним махом, в своего рода инаугурационном теоретическом акте. Программа наблюдения и анализ, благодаря которым и происходит конструирование объекта, — это не план, который вы набрасываете заранее, подобно инженеру. Скорее, это — длительная и напряжённая работа, которая совершается шаг за шагом, путём целого ряда мелких исправлений и уточнений, инспирированных тем, что называется *le metier* (профессия, дело, ремесло), «ноу-хау», то есть совокупностью практических принципов, позволяющих в нужный момент сделать решающий выбор. Так что, имея несколько приукрашенное и нереалистичное представление об исследовании, некоторые будут удивлены тем фактом, что мы будем достаточно долго обсуждать такие совершенно незначительные детали, как то: должен ли исследователь говорить о своём статусе социолога, а может, ему лучше укрыться под видом менеестораживающей личности (скажем, этнографа или историка) или скрыть её совершенно; включать такие вопросы, предназначенные для статистического анализа, в инструментарий обследования или лучше оставить их для глубинных и личных интервью с ограниченным числом информантов и так далее.

Это постоянное внимание к деталям исследовательской процедуры, чисто социальное измерение которых (как разместить надёжных и проницательных информантов, как представиться им, как описать цели вашего исследования и, вообще, как «войти» в изучаемый мир и так далее) вовсе не является несущественным, должно настроить вас

против фетишизации понятий. Это внимание должно предостеречь от «теории», возникающей из склонности рассматривать «теоретические» инструменты — габитус, поле, капитал, и так далее — в большей степени сами по себе и для себя, чем для того, чтобы привести их в движение и заставить работать.

Так, понятие поля функционирует как концептуальная стенография способа конструирования объекта, и оно будет контролировать или ориентировать все практические шаги исследования. Оно функционирует как памятка или напоминание: оно говорит мне, что я должен на каждом этапе быть уверенным в том, что объект, который я создал сам, не опутан сетью отношений, определяющих наиболее отличительные его свойства. Понятие поля напоминает нам первое правило метода, согласно которому мы всеми доступными нам средствами должны сопротивляться нашему первому побуждению думать о социальном мире в субстанциалистской манере. Лучше говорить, подобно Кассиреру в работе «Понятие субстанции и понятие функции»: мыслить следует относительно (В русском переводе: см. Кассирер Э. Познание и действительность. — М., 1912. — Прим. пер.). Сейчас легче думать в понятиях реальностей, которые можно «потрогать руками», в смысле таких реальностей, как группы и индивиды, нежели в понятиях отношений.

К примеру, легче думать о социальной дифференциации в терминах групп, определяемых как популяции, в реалистичных понятиях классов или даже в терминах антагонизмов между этими группами, чем в терминах пространства отношений [15]. Обычные объекты исследования — это реальности, на которые указывает исследователь потому, что они «выделяются» в смысле «создания проблемы» — как, например, в случае «социального обеспечения матерей-подростков в чёрном гетто Чикаго». Исследователи делают объектами исследования, главным образом, проблемы социального порядка и домашнего быта, поставленные более или менее произвольно определяемыми совокупностями жителей, которые возникают вследствие последовательного деления первоначальной категории, которая сама по себе является пред-конструированной: «пожилой», «молодой», «эмигранты», «полупрофессии», «бедное население» и тому подобное. Возьмём, например, «проект Виллербонна, посвящённый молодёжи западных окраин» [16]. Во всех таких случаях первым и самым настоящим научным приоритетом будет следующий: сделать объектом исследования социальную работу конструирования деконструированного объекта. Вот в чём настоящий прорыв.

Однако чтобы избежать реалистического способа мышления, недостаточно употреблять великие слова Великой Теории. Например, относительно власти некоторые могут задавать субстанциалистские или реалистичные вопросы, связанные с её местонахождением на манер тех культурных антропологов, которые странствовали в бесконечных поисках «локуса культуры»; другие будут спрашивать, откуда приходит (происходит) власть, сверху или снизу («кто правит?»), как делали те социолингвисты, которых волновал вопрос, где находится центр (локус) лингвистического изменения — в среде мелкой буржуазии, буржуазии и так далее. [17] Именно с целью порвать с субстанциалистским способом мышления, а не для того, чтобы наклеивать новые ярлыки на старые теоретические мехи, я говорю скорее о «поле власти», чем о доминирующем классе; последний, будучи реалистическим понятием, означает действительную совокупность тех, кто обладает этой осязаемой реальностью, которую мы называем властью. Полем власти я называю отношения

силы, устанавливающиеся (существующие) между социальными позициями, которые гарантируют их носителям определённую часть социальной силы или капитала — так, что они оказываются в состоянии вступать в борьбу за монополию власти; решающим измерением этой борьбы оказывается борьба за определение легитимной формы власти (в частности, я имею в виду здесь конфронтацию между «художниками» и «буржуазией» в конце XIX века) [18].

Как уже было сказано, одна из основных трудностей реляционного анализа состоит главным образом в том, что понять социальные пространства можно, лишь поняв, как распределяются свойства между индивидами или конкретными институтами, так как доступные для анализа данные связаны с индивидами или институтами. Так, чтобы понять субполе экономической власти во Франции и социально-экономические условия его воспроизводства, у вас практически нет иного выбора, как проинтервьюировать пару сотен занимающих самое высокое положение французских CEO — (Chief Executive Officer (англ.) — исполнительный директор, менеджер высшего звена. — Прим. пер.) (Bourdieu and de Saint Martin, 1978; Bourdieu, 1989. — р. 396–481). И когда вы будете это делать, то должны остерегаться возвращения к «реальности» предсконструированных социальных агрегатов, что может произойти в любой момент. Чтобы уберечься от этого, я думаю, вы воспользуетесь очень простым и удобным инструментом конструирования объекта: квадратной таблицей соответствующих свойств совокупности агентов или институтов. Если, например, мне нужно проанализировать различные виды спортивной борьбы (спортивная борьба, дзюдо, айкидо, бокс и так далее), различные институты высшего образования или различные парижские газеты, я занесу все эти институты на горизонтальную линию и буду добавлять новую вертикальную колонку всякий раз, когда обнаружу свойство, необходимое для характеристики одного из них; и я буду обязан исследовать все другие институты на предмет наличия или отсутствия этого свойства. Это может быть сделано на чисто индуктивной стадии первоначального размещения. Затем я уберу лишнее и удалю колонки, в которых отражены структурно или функционально равнозначные характеристики, оставив все те — и только те — характеристики, которые будут способствовать распознаванию различных институтов, будучи тем самым аналитически релевантными. Достоинство этого весьма простого инструмента в том, что он заставляет вас думать, соответственно, как о рассматриваемых социальных агрегатах, так и об их свойствах, которые можно характеризовать в терминах их наличия или отсутствия (да/нет) или по шкале (+, 0, — или 1, 2, 3, 4, 5).

Именно ценой такой конструкторской работы, которая совершается не сразу, а путём проб и ошибок, постепенно конструируются социальные пространства, которые хотя и раскрывают себя лишь в форме высоко абстрактных, объективных отношений, и хотя их нельзя ни потрогать, ни «показать на них пальцем», оказываются тем, что создаёт всю реальность социального мира. Здесь я отошлю вас к своей недавно опубликованной работе (Bourdieu, 1989) об элитных школах (*Grandes écoles*) [19], в которой я, благодаря весьма сжатой хронике исследовательского проекта, продолжавшегося почти два десятилетия, говорю, как продвигаются от монографии к строго Уконструированному научному объекту, и в этом случае на поле академических институтов возлагается обязанность воспроизводства поля власти во Франции. Становится всё труднее не попасть в ловушку пред-сконструированного объекта в том смысле, что здесь я имею дело с объектом, в котором я, по определению,

заинтересован, но ясно не осознаю истинную причину этого «интереса». Например, этой причиной может быть тот факт, что я — выпускник Педагогического института (Ecole normale supérieure) [20]. Моё непосредственное знание этого института, которое становится всё более пагубным по мере того, как оно оказывается лишённым таинственности и демистифицирующим, порождает целый ряд в высшей степени наивных вопросов, которые каждый выпускник Педагогического института найдёт интересными, потому что они тотчас же «приходят ему в голову», вызывая удивление по поводу его или её школы, то есть по поводу их самих: например, способствует ли классификация при поступлении в школу определению выбора дисциплин: математики и физики или литературы и философии? (Спонтанная проблематика, в которой присутствует немалая толика нарциссического самодовольства, обычно бывает ещё наивнее. Я мог бы отослать вас к бесчисленным томам, опубликованным на протяжении последних 20 лет, утверждающим научный статус той или иной Высшей школы). Можно закончить написание многотомной книги, напичканной фактами, которые все без исключения имеют видимость вполне научных, но где упущена суть дела, если, как я полагаю, Педагогический институт, с которым меня могли связывать эмоциональные узы, позитивные или негативные, обусловленные моими приоритетами, в действительности есть не что иное, как точка в пространстве объективных отношений (точка, «вес» которой в структуре и следует определить); или, если быть более точным, правду об этом институте следует искать в клубке отношений оппозиции и конкуренции, связывающих его с целой сетью институтов высшего образования во Франции, а саму эту сеть — со всей совокупностью позиций в поле власти, к которой эти школы гарантируют доступ. Если действительно верно то, что реальное относительно, тогда вполне возможно, что я ничего не знаю об институте, в то время как думаю, что знаю о нём все, поскольку нет ничего вне его связей с целым.

Так что проблемы стратегии, которых никто не может избежать, будут снова и снова появляться в нашем обсуждении исследовательских проектов. Первая проблема может быть сформулирована следующим образом: что лучше — провести экстенсивное исследование всей совокупности релевантных элементов объекта, из них сконструированного, или же — интенсивное исследование небольшого фрагмента этой теоретической совокупности, лишённого теоретического подтверждения?

Выбор, чаще всего социально санкционированный, во имя наивной позитивистской идеи о точности и «серьёзности» совершается в пользу второй альтернативы, которая означает «исчерпывающее исследование очень точно и хорошо описанного объекта», как любят говорить научные консультанты. (Совсем не трудно показать, каким образом такие типичные добродетели мелкой буржуазии, как «благоразумие», «серьёзность», «честность» и тому подобные качества, которые годятся для мелкого бизнеса или бюрократии среднего уровня, превращаются здесь в «научный метод»; а также показать, как социально санкционированное ничто — «изучение общества» или организационная монография — может принимать форму признанного научного существования в результате классического действия социальной магии.)

Фактически мы увидим, что вопрос о границах поля — явно позитивистский вопрос, на который можно дать теоретический ответ (агент или институт относятся к полю постольку, поскольку оказывают влияние на него или сами испытывают это влияние), — будет

подниматься снова и снова. Следовательно, вы почти всегда будете сталкиваться с альтернативой выбора между интенсивным анализом практически постигаемого фрагмента объекта и экстенсивным анализом подлинного объекта. Научная польза от знания пространства, из которого вы выделяете объект исследования (например, определённую элитную школу) и которое вы должны постараться очертить хотя бы грубо на основе вторичных данных за неимением лучшей информации, заключается в том, что вы сможете, по крайней мере в общих чертах, благодаря знанию того, что вы делаете и что представляет собой реальность, из которой был абстрагирован фрагмент, набросать основные силовые линии влияния этого структурного пространства, ограничения которого имеют отношение к рассматриваемой проблеме. (Так поступали архитекторы XIX века, делая углём наброски целых строений, где помещали отдельные фрагменты, которые хотели изобразить в деталях.) Так что вы не избежите риска поиска (и «нахождения») в изучаемом фрагменте принципов и механизмов, присущих реальности, внешней по отношению к нему, присутствующей в его отношениях с другими объектами.

Для конструирования научного объекта требуется также, чтобы вы заняли активную и методичную позицию по отношению к «фактам». Чтобы порвать с эмпирической пассивностью, которая не более, чем подтверждает изначальные конструкты здравого смысла, и постоянно не возвращаться к бессмысленному дискурсу монументального (снобистского) «теоретизирования», нужно не нагромождать и дальше величественные и пустые теоретические конструкты, а взяться за весьма конкретный эмпирический случай с целью построения модели (которая вовсе не должна принимать математическую или абстрактную форму, чтобы быть строгой). Вы должны связывать относящиеся к делу данные таким образом, чтобы они функционировали как само-развёртывающаяся программа исследования, способная ставить систематические вопросы, обязанная давать систематические ответы, — короче, создавать согласованную систему отношений, которая может быть подвергнута проверке в качестве таковой. Сомневаться — значит систематически задавать вопросы в каждом конкретном случае, конструируя этот случай, по выражению Башляра (1949), как «особый случай возможного», для того чтобы выделить общие или инвариантные свойства, которые можно обнаружить лишь благодаря такому вопрошанию. (Если такая интенция очень часто отсутствует в работах историков, то, несомненно, потому, что определение их задачи, запечатлённое в социальном определении их дисциплины, — менее амбициозное или претенциозное, но в то же время и менее требовательное в этом отношении, чем то доверие, какое оказывают социологу.)

Рассуждение по аналогии, основанное на интеллектуально-интуитивном постижении гомологии (которое само основано на знании неизменных законов полей), — мощный инструмент конструирования объекта. Это то, что позволяет вам полностью вникнуть в специфику рассматриваемого случая, не утонув в ней, подобно эмпирической идиографии, и осуществить намерение обобщать (которое сама по себе и есть наука) не с помощью внешнего и искусственного применения пустых и формальных концептуальных конструкций, но благодаря этому особому способу обдумывания конкретного случая, состоящему в действительном обдумывании его как такового. Этот способ мышления достигает своего полного логического завершения в сравнительном методе, благодаря которому вы можете обдумывать каждый конкретный случай с точки зрения относительности, сконструированный как «особый случай возможного» на основе

структурных гомологии, существующих между различными полями (например, между полем академической власти и полем религиозной власти с помощью гомологии между отношениями профессор/интеллектуал, епископ/теолог) или между различными состояниями одного и того же поля (например, религиозное поле в Средние века и сегодня) [21].

Если этот семинар будет проходить так, как хотелось бы, в нём можно было бы практически-социально реализовать метод, который я пытаюсь разрабатывать. Здесь вы услышите людей, которые работают с различными объектами, постоянно подвергая их сомнению и руководствуясь одинаковыми принципами; так что *modus operandi* (*Modus operandi* — способ действий (лат.) — Прим. пер.), которым я хотел бы поделиться с другими, будет передаваться практически, то есть он будет снова и снова применяться к различным случаям, не требуя внешнего теоретического объяснения. Слушая других, каждый из нас будет думать о своём собственном исследовании, и создающаяся в результате ситуация институционализированного сравнения (что касается этики, то этот метод функционирует лишь в том случае, если он заложен в основы социального универсума) будет заставлять каждого участника сразу же и без возражений конкретизировать свой объект, воспринимая его как частный случай (вопреки одному из самых распространённых заблуждений социальной науки, а именно — универсализации частного случая), и обобщать его, раскрывая благодаря использованию общих вопросов инвариантные свойства, которые скрыты за кажущейся единичностью. (Одно из самых непосредственных следствий этого способа мышления — запрещение некоего рода полубобщения, приводящего к появлению в научном универсуме незаконнорождённых абстрактно-конкретных понятий, возникающих из непроанализированных собственных слов или фактов.)

В те времена, когда я был научным руководителем, я настоятельно советовал исследователям изучать, по крайней мере, два объекта; если взять пример с историками, то, кроме их главного объекта (скажем, издатель во времена Второй империи), изучать и современный эквивалент этого объекта (парижское издательство). Изучение настоящего имеет уже то преимущество, что заставляет историка объективировать и контролировать свои изначальные понятия, которые он, по всей видимости, будет переносить на прошлое, хотя бы потому, что для обозначения прошлого опыта он пользуется словарём нынешней эпохи, например, словом «артист», которое часто заставляет нас забывать о том, что соответствующее ему понятие — совсем недавнего происхождения (Bourdieu, 1987, 1988) [22].

III. Радикальное сомнение

Для того чтобы сконструировать научный объект, прежде всего, нужно отказаться от здравого смысла, то есть от представлений, которые разделяют все, будь то простые банальности повседневного существования или официальные представления, часто закреплённые за институтами и присутствующие таким образом в объективных социальных организациях и в сознании их участников. Предсконструированное есть повсюду. Социолог буквально окружён этим, как, впрочем, и все остальные. Таким образом, социолог озадачивает себя познанием объекта — социального мира, — продуктом которого он сам, в

известном смысле, является, так что велика возможность того, что проблемы, которые он поднимает в связи с этим познанием, и понятия, которые он использует, будут продуктом самого этого объекта. Это особенно касается классифицирующих понятий, которые он использует в целях познания своего объекта, таких общих понятий, как названия профессий, или понятия, принятые в среде учёных, вроде тех, которые передаются из поколения в поколение традицией данной дисциплины. Их самоочевидный характер является следствием соответствия между объективными и субъективными структурами, что спасает их от вопросов.

Как может социолог на практике реализовать это радикальное сомнение, необходимое для вынесения за скобки всех исходных предпосылок, заложенных в самом факте, что (социолог) — социальное существо, а потому социализирован и должен чувствовать себя «как рыба в воде» в том социальном мире, структуры которого он интернализировал? Как он может воспрепятствовать тому, чтобы социальный мир сам конструировал объект, через его (социолога) посредство, с помощью естественных действий или бессознательных процессов, субъектом которых он оказывается? Не конструировать, как поступает позитивистский гиперэмпиризм, когда некритически принимает предлагаемые ему понятия: «достижение», «предписание», «профессия», «актор», «роль» и так далее — уже означает конструировать, потому что это равносильно сообщению, а тем самым и утверждению о том, что нечто уже сконструировано. Обычная социология, которая обходится без радикального сомнения по поводу своих собственных операций и своих собственных инструментов мышления, и которая, несомненно, будет считать подобную рефлексивную интенцию реликтом философского менталитета, пережитком дона-учных времён, основательно заполнена объектом, который она якобы знает, но который она фактически не может знать, поскольку не знает самое себя. Научная деятельность без сомнений и вопросов относительно себя самой, собственно говоря, сама не знает, что делает. Воспринимая объект, заложенный в ней или считающийся само собой разумеющимся как объект научной деятельности, она открывает в нём кое-что, но лишь то, что, по сути дела, не объективировано, поскольку в её состав входят и сами принципы понимания объекта.

Можно было бы легко продемонстрировать, что эта полужнающая наука [23] заимствует свои проблемы, свои понятия, свои средства познания у социального мира и что зачастую она фиксирует как данное, как эмпирическое наблюдение, независимое от акта познания и от науки, которая осуществляет это познание, факты, представления или институты, являющиеся продуктом предшествующей стадии науки. Короче говоря, она фиксирует себя самое, не узнавая себя...

Позвольте мне на минуту остановиться на каждом из этих моментов. Социальная наука всегда готова получать из изучаемого ей социального мира вопросы, которые она задаёт относительно этого мира. Каждое общество в каждый момент вырабатывает ряд социальных проблем, которые считаются легитимированными, заслуживающими публичного обсуждения, а иногда и становящимися официальными, то есть в некотором смысле — гарантированными государством. Например, существуют проблемы, находящиеся в ведении комиссий высокого уровня, которым официально предписано изучать их, или проблемы, которые более или менее непосредственно относятся к компетенции самих социологов благодаря разного рода бюрократическим заявкам, исследовательским и фондовым

программам, контрактам, грантам, субсидиям и так далее [24]. Значительная часть объектов, признанных официальной социальной наукой так же, как и множество названий исследовательских проектов — не что иное, как социальные проблемы, окольным путями проникшие в социологию: бедность, преступность, молодёжь, не окончившая высшую школу, досуг, «пьяное вождение» и так далее, которые видоизменяются в зависимости от колебаний социального и научного сознания того или иного времени. Это подтверждает анализ эволюции основных реалистичных подразделений социологии (представление о них можно получить из заголовков в специализированных журналах или из названий исследовательских групп или секций, собирающихся периодически на мировые социологические конгрессы) [25].

Это один из посредников, с помощью которого социальный мир конструирует свой собственный образ, используя для этой цели социологию и социологов. Для социолога больше, чем для любого другого мыслителя, оставить свою мысль в состоянии «не мысли» (*impense*) — значит обречь себя быть не более чем инструментом того, кто претендует на то, чтобы думать.

Как мы должны переломить ситуацию? Как может социолог отделаться от подспудной убеждённости, которая тревожит его всякий раз, как он смотрит телевизор, читает газеты или даже работы своих коллег? Одного того, что ты — настороже, явно недостаточно, хотя это важно. Одно из самых надёжных средств решения этой задачи — социальная история проблем, объектов и инструментов мышления, то есть история процесса социального конструирования реальности (хранимого в таких общих представлениях, как роль, культура, молодёжь и так далее или в таксономиях), который совершается и в самом социальном мире в целом, и в каждом отдельном поле, и особенно в поле социальных наук. (Это должно было бы привести к тому, что изучение социальной истории социальных наук стало бы обязательным — истории, которую, по большей части, ещё предстоит написать, — и эта цель совершенно отлична от той, которую мы преследуем сегодня.)

Значительная часть коллективного труда, вышедшего в «*Actes de la recherche en sciences sociale*» («Учёные труды по социальным наукам»), посвящена рассмотрению социальной истории самых обычных объектов повседневного существования. Я думаю, к примеру, обо всех тех вещах, которые стали столь же обычными, сколь и само собой разумеющимися, так что никто не обращает на них никакого внимания: структура судебного права, пространство музея, кабина для голосования, понятие «профессиональная травма», «кадр», квадратная таблица или, ещё проще, процесс написания или печатания [26]. Понимаемая таким образом история руководствуется не антикварным интересом, но желанием постичь, почему и как происходит процесс понимания общее мнение учёных.

Чтобы не стать объектом проблем, которые вы исследуете как свой объект, вы должны проследить историю возникновения этих проблем, их постепенного становления, то есть коллективной работы, зачастую совершаемой, несмотря на борьбу и конкуренцию, которая оказывается необходимой для того, чтобы сделать те или иные вопросы узанными и признанными (*faire connaitre et reconnoitre*) в качестве легитимных проблем, которые открыто признаны, обнародованы, известны общественности и властям. Кто-то думает сейчас о проблеме «рабочего травматизма» или профессионального риска, изучаемых Реми

Ленуаром (1980), или об изобретении понятия «пожилые» (*troisieme age*), которых исследовал Патрик Шампань (1979), или о таких ещё более общих столпах социологии «социальных проблем», как семья, развод, преступность, наркотики или участие женщин на рынке труда. Во всех этих случаях мы обнаружим, что проблема, которую обыденный позитивизм (являющийся первым камнем преткновения для каждого исследователя) считает само собой разумеющейся, — это социальный продукт, созданный в процессе и благодаря коллективной деятельности по конструированию социальной реальности [21]; для решения которой собираются митинги и комитеты, ассоциации и лиги, партийные совещания и движения, демонстрации и ходатайства, прошения и обсуждения, публика и голоса, проекты, программы и резолюции. И всё для того, чтобы превратить частную, отдельную, единичную проблему в социальную проблему, общественный вопрос, который может быть интересен и адресован широкой публике (вспомните обсуждения абортов и гомосексуализма) [28], или даже в официальную проблему, которая становится объектом государственной политики, права, декретов, решений.

Здесь следовало бы проанализировать исключительную роль политического поля (Bourdieu, 1981) и особенно — бюрократического поля.

Благодаря весьма своеобразной логике административных полномочий, логике, которую я в данный момент изучаю в связи с рассмотрением публичной политики по вопросу поддержки индивидуального домовладения во Франции около 1975 года [29], бюрократическое поле во многом способствует появлению и освящению «универсальных» социальных проблем. Наложение проблематики, которой социолог — как и любой другой социальный агент — подвержен в своей жизни и которой он оказывает поддержку всякий раз, когда он сам задаёт вопросы, являющиеся выражением социально-политического духа времени (например, включая их в свой опросник или, что ещё хуже, строя на них своё исследование), вероятнее всего, происходит в тот момент, когда проблемы, считающиеся само собой разумеющимися в данном социальном универсуме — оказываются теми проблемами, которые имеют больше всего шансов получить гранты [30], материальные или символические, будучи, как мы скажем по-французски, *vus* (очевидными), пользующимися большой благосклонностью у научного бюрократического руководства и у таких бюрократических структур, как исследовательские фонды, частные фирмы или правительственные агентства. (Этим объясняется, почему опросы общественного мнения, «наука без учёных» всегда получают одобрение тех, у кого есть средства их субсидировать и кто в других случаях оказывается весьма критичным по отношению к социологии, независимо от того, следует ли последняя их требованиям и указаниям или нет [31].)

Добавлю только, чтобы несколько усложнить ситуацию и дать вам понять, насколько трудно, по сути дела, почти безнадежно положение социолога, что деятельность по производству официальных проблем, то есть проблем, обладающих такого рода универсальностью, которая даётся гарантиями со стороны государства, — почти всегда даёт возможность вступить в дело тем, кого сегодня называют экспертами. Среди этих так называемых экспертов есть социологи, которые используют авторитет науки, чтобы подтвердить универсальность, объективность и незаинтересованность бюрократического представления проблем. Значит, следует сказать, что любой социолог, достойный этого имени, то есть, в соответствии с моей концепцией, тот, кто делает то, что требуется, чтобы

иметь некий шанс занять позицию субъекта по отношению к проблемам, которые социолог может поставить по поводу социального мира, — должен включать в свой объект всё, что совершенно чистосердечно делают социология и социологи (то есть его собственные коллеги) для производства официальных проблем — даже если это может показаться признаком невыносимой самонадеянности или предательством профессиональной солидарности и корпоративных интересов.

Как мы отлично знаем, в социальных науках эпистемологические бреши зачастую оказываются социальными брешами, разрывами с основными верованиями группы, а иногда и с главными верованиями корпуса профессионалов, с совокупностью разделяемых многими несомненных фактов, составляющих *communis doctorum opinio* (Общее мнение учёных (фр.) — Прим. пер.). Практика радикального сомнения в социологии чем-то сродни положению вне закона. Это, несомненно, остро чувствовал Декарт, который, к ужасу своих комментаторов, никогда не распространял на политику образ мышления, который он так бесстрашно вводил в сфере знания (посмотрите, с какой осторожностью он говорит о Макиавелли).

Сейчас я подхожу к понятиям, словам и методам, которые «профессия» использует, чтобы говорить и думать о социальном мире. Язык ставит социолога перед весьма драматической проблемой: он, по сути дела, оказывается неисчерпаемым кладезем натурализованных заранее сконструированных конструктов [32], а значит, таких конструктов, которые игнорируются в качестве таковых и которые могут функционировать как бессознательные инструменты конструирования. Я мог бы привести здесь пример с профессиональными таксономиями, будь то названия профессий, распространённые в повседневной жизни, или социально-экономические категории INSEE (Французского национального института экономических и статистических исследований), единичные примеры бюрократической концептуализации, бюрократического универсума и ещё более общий пример всех таксономии (возрастные группы, молодёжь и старики, тендерные категории, которые, как мы знаем, не свободны от социальной двусмысленности), которые социологи используют, не раздумывая о них слишком много, потому что это — социальные категории понимания, разделяемые всем обществом [34]. Или в случае, который я назвал «категориями профессорского суждения» (система парных прилагательных, используемая для оценки студенческих работ или добродетелей коллег (Бурдьё, 1988. — р. 194–225), они имеют отношение к профессиональной корпорации (при этом не исключается, что в окончательном анализе они будут основываться на гомологиях структур, то есть на основных противоположностях социального пространства, таких, как редкий/банальный, уникальный/общий и так далее).

Но я полагаю, что следует идти дальше и обратить внимание не только на классификацию профессий и на понятия, используемые для обозначения разных видов деятельности, но также и на само понятие занятия или профессии, которое служит основой целой исследовательской традиции и которое к тому же оказывается своего рода методологическим двигателем. Я хорошо понимаю, что понятие «профессия» и её производные (профессионализм, профессионализация и так далее) были жёстко и плодотворно подвергнуты сомнению в работах Магали Сарфатти Ларсона (1977), Рэндалла Коллинза (1979), Эллиота Фридсона (1986) и, в частности, Эндрю Эббота, который среди

многого другого выдвинул на первый план конфликты, присущие профессиональному миру. Но я думаю, что мы должны встать выше этой критики, сколь бы радикальной она ни была, и постараться, как я, заменить это понятие понятием поля.

Понятие профессии становится всё более опасным, потому что оно выглядит, как всегда в подобных случаях, совершенно нейтрально в своих предпочтениях и ещё потому, что его использование было усовершенствованием по сравнению с теоретическим беспорядком (*bouillie*) Парсонса. Говорить о «профессии» — значит пристально смотреть на подлинную реальность, на совокупность людей, которых объединяет одно и то же название (например, они все «юристы»); они наделяются примерно равным экономическим статусом, и, что важнее, они входят в состав «профессиональных ассоциаций», у которых есть свой этический кодекс и коллективные формы, устанавливающие правила приёма, и так далее.

«Профессия» — это обыденное понятие, которое незаконно проникло в научный язык, привнеся в него тем самым всё социальное бессознательное. Это понятие — социальный продукт исторической деятельности по конструированию групп и репрезентации групп, которое исподтишка вводится в науку самой этой группой. Вот почему это «понятие» работает так хорошо или, в некотором смысле, даже слишком хорошо: если вы принимаете его для конструирования своего объекта, то получаете и находящиеся под рукой рекомендации, составленные списки и биографии, собранные библиографии, центры информации и базы данных, уже сделанные «профессиональными» организациями, и при условии, что вы будете проницательными, у вас будут средства, чтобы изучать его (как это очень часто происходит, к примеру, в случае с юристами).

Категория профессии имеет отношение к реальностям, которые в известном отношении «слишком реальны», чтобы быть подлинными, поскольку она сразу схватывает и ментальную, и социальную категории как социальный продукт, созданный в процессе вытеснения и ликвидации всех видов экономических, социальных и этнических различий, которые составляют «профессию» юриста, к примеру — пространство конкуренции и борьбы [35]. Всё становится иным и гораздо более трудным, если вместо того, чтобы считать понятие «профессии» наличной ценностью, я отнесусь всерьёз к процессу агрегации и символического наложения, которые были необходимы для его создания, и если я буду исследовать его как поле, то есть как структурированное пространство социальных сил и социальной борьбы [36].

Как вы делаете выборку поля? Если, следуя канону, предписываемому ортодоксальной методологией, вы берёте случайную выборку, то искажаете сам объект, который собираетесь конструировать. Если, изучая, к примеру, юридическое поле, вы не изображаете высшую справедливость Верховного суда, или, исследуя французское интеллектуальное поле 1950-х годов, вы оставляете в стороне Ж.-П. Сартра, или при изучении американской академической жизни упускаете Принстонский университет, ваше поле разрушается, поскольку одни эти личности или институты занимают в нём решающую позицию. Их позиции в поле являются определяющими для всей структуры [37]. Со случайной или репрезентативной выборкой художников или интеллектуалов как «профессии», однако, нет проблем.

Если вы принимаете понятие профессии скорее как инструмент, чем как объект анализа, то не возникает никаких трудностей. Пока вы считаете его тем, за что оно себя выдаёт, данное (свято почитаемые данные социологов-позитивистов) отдаёт вам себя без каких-либо затруднений.

Всё идёт гладко, всё само собой разумеется. Двери и рты широко открыты. Какая группа смогла бы отказаться от характеристики социального учёного, имеющей отношение к её сакрализации и натурализации? Исследования епископов и корпоративных лидеров, которые (молчаливо) одобряют церковную или деловую проблематику, получают поддержку епископата или бизнес-совета, а кардиналы и корпоративные лидеры, которые будут рьяно комментировать результаты этих исследований, пожалуют тем самым сертификат объективности социологу, который преуспеет в придании объективной, то есть общественной, реальности субъективной репрезентации, которая у них имеется относительно их собственного социального бытия.

Короче говоря, пока вы не выходите за рамки области социально сконструированных и социально санкционированных видимостей, — и таков порядок, к которому относится понятие «профессии», — все эти видимости будут с вами и для вас, даже видимость научности. И наоборот, как только вы попытаете воздействовать на подлинный сконструированный объект, всё станет трудным: «теоретический» прогресс приведёт к дополнительным «методологическим» трудностям. Методологам, со своей стороны, не составит труда придраться к действиям, которые должны были быть выполнены для того, чтобы понять сконструированный объект так глубоко, насколько это возможно. (Методология — это наука дураков, что по-французски звучит как *c'est la science des ones*. Она представляет собой компендиум ошибок, о которых можно сказать: нужно быть немым, чтобы совершить большинство из них.)

Среди рассматриваемых трудностей есть вопрос, которого я касался раньше, связанный с границами поля. Самые смелые из позитивистов решают этот вопрос — если просто не отказываются задавать его, используя предсуществующие списки, — с помощью того, что они называют «операциональным определением» («в данном исследовании я буду называть писателем...»; «я буду считать полупрофессией...»), не понимая, что проблема определения («такой-то и такой-то не является настоящим писателем») — весьма рискованное дело в рамках самого объекта [38].

В рамках объекта идёт борьба за то, кто является частью игры и кто фактически заслуживает названия автора. Само понятие писателя так же, как юриста, доктора или социолога, несмотря на все ошибки кодификации и гомогенизации (посредством идентификации), подвергается риску в поле писателей (или юристов и так далее); борьба за легитимное определение, ставка в которой — само слово «определение» говорит об этом — границы, пределы, право признания, иногда *numerus clausus* (количественное ограничение), — универсальное свойство полей [39].

Эмпирицистский отказ, у которого есть все эти внешние проявления, получает всяческое одобрение, поскольку, избегая сознательного конструирования, он оставляет решающие операции научного конструирования — выбор проблемы, разработку понятий и

аналитических категорий — самому социальному миру как таковому, установившемуся порядку, выполняя тем самым (хотя бы и своим бездействием) консервативную, по самой своей сути, функцию ратификации доксы. Из всех препятствий, стоящих на пути развития научной социологии, самым серьёзным является тот факт, что настоящие научные открытия требуют огромнейших затрат и приносят наименьшую выгоду не только на обычных рынках социального существования, но, зачастую, и на академическом рынке, от которого можно было бы ждать большей независимости. Подобно тому, как я старался показать характерные социальные и научные затраты и приобретения понятий «профессия» и «поле», часто для того, чтобы создавать науку, бывает необходимо отказываться от видимостей научности, даже если это противоречит существующим нормам и подвергает сомнению критерии научной строгости.

Видимости в чести у очевидности. Настоящая наука очень часто не производит хорошего впечатления, и, чтобы её развивать, зачастую приходится подвергаться риску не продемонстрировать всех внешних признаков научности (мы к тому же забываем, как легко их симулировать). Среди других причин, по которым слабоумные или придурки как называл их Паскаль, концентрирующие своё внимание на внешних нарушениях канонов элементарной «методологии», оказываются в полном подчинении у своей позитивистской самоуверенности воспринимать методологические альтернативы как многочисленные «ошибки», как следствия некомпетентности или невежества, — умышленный отказ пользоваться спасительными люками «методологии».

Нет нужды говорить, что чрезмерная рефлексивность, являющаяся условием строгой научной практики, не имеет ничего общего с ложным радикализмом, — который сейчас быстро распространяется, — который состоит в том, чтобы подвергать сомнению науку. (Я сейчас думаю о тех, кто обращается к очень давней философской критике науки, более или менее обновлённой и приведённой в соответствие с модой, доминирующей в американской социальной науке, чей иммунитет был разрушен, как это ни парадоксально, несколькими поколениями позитивистской «методологии».)

Среди этих критиков особое место должны занять этно-методологи, несмотря на то, что в некоторых своих формулировках они сходятся с заключениями тех, кто сводит научный дискурс к риторическим стратегиям относительно самого мира, редуцированного к тексту. Анализ логики практики и спонтанных теорий, которыми она сама вооружается, чтобы придать смысл миру, — не самоцель, это не более чем критика предпосылок обыденной (то есть нерефлексивной) социологии, особенно в её использовании статистических методов. Это весьма решительный момент (но только момент) разрыва с предпосылками обыденного и научного здравого смысла. Если схемы практического смысла объективируются, то не с целью доказать, что социология может предложить только одну из многих точку зрения на мир, — ни более, ни менее научную, чем любая другая, но с целью изъять научный разум из сферы практического разума, помешать последнему смешаться с первым, уйти от обсуждения как инструмента познания того, что должно быть объектом познания, — всего того, что составляет практический смысл социального мира: исходных предпосылок, схем восприятия и понимания, которые дают живому миру его структуру. Взять в качестве объекта обыденное понимание и первичное восприятие социального мира — в качестве нететического не безапелляционного) признания мира, который не конструируется, как

объект, противостоящий субъекту, — это именно то средство, с помощью которого можно избежать «попадания в ловушку» объекта. Это — способ подвергнуть тщательному исследованию всё, что делает возможным доклическое восприятие мира, то есть не только пред-сконструированную репрезентацию этого мира (представление о мире, основанное на конструктах первого порядка), но также когнитивные схемы, лежащие в основе создания этого образа. И те этнометодологи, которые удовлетворяются лишь описанием этого опыта (восприятия), не задавая вопросов относительно социальных условий, делающих его возможным, то есть соответствия между социальными и ментальными структурами, объективными структурами мира и когнитивными структурами, с помощью которых последний постигается, — только и делают, что повторяют самые традиционные вопросы самой традиционной философии относительно реальности реальности. Чтобы оценить ограничения этого подобия радикализма, представляющие собой следствия эпистемологического популизма (сводящегося к реабилитации обыденного мышления), нам нужно только отметить, что этнометодологи никогда не замечали, что политическая ангажированность лексического восприятия мира (отличаясь абсолютным принятием установленного порядка, а потому и находясь вне критики) оказывается наиболее безопасным основанием консерватизма, более радикального, чем тот консерватизм, который стремится к установлению политической ортодоксии [40].

IV. Двойная связь и конверсия

Пример, который я только что приводил с понятием «профессия», — не что иное, как частный случай более общей трудности. Фактически это целая академическая традиция в социологии, которую мы должны постоянно и методично подвергать сомнениям и подозрениям. Каким образом неизбежно устанавливается своего рода двойная связь, в которой каждый социолог заслуживает своего названия; без интеллектуальных инструментов, завещанных её академической традицией, она или он — не более чем дилетант, самоучка, спонтанный социолог (экипированный, конечно, не лучше всех других обыденных социологов и имеющий явно небольшой социальный опыт по сравнению с большинством академиков); но в то же время эти инструменты постоянно подвергаются опасности простой замены наивной доксы обыденного здравого смысла не менее наивной доксы академического здравого смысла, которая болтает, как попугай, о дискурсе здравого смысла на техническом жаргоне и в официальном убранстве научного дискурса (это то, что я называю «эффектом Диафура») [41].

Нелегко избежать подводных камней этой дилеммы, этого выбора между безоружным невежеством самоучки, лишённого инструментов научного конструирования и полунауки полуучёного, который бессознательно и некритично принимает категории восприятия, связанные с определённым состоянием социальных отношений и полусконструированные понятия, более или менее непосредственно заимствованные из социального мира. Это противоречие нигде не чувствуется так сильно, как в этнологии, где вследствие различий культурных традиций и происходящего в результате отстранения нельзя жить, как в социологии, с иллюзией непосредственного понимания. В таком случае либо вы ничего не понимаете, либо вы оставляете категории восприятия и способ мышления (легализм антропологов), полученные от ваших предшественников, которые часто сами получали их от

другой академической традиции (например, из римского права). Всё это располагает нас к своего рода структурному консерватизму, что приводит к воспроизводству школьной доксы [42].

Отсюда следует своеобразная антиномия педагогики исследования; нужно передавать как проверенные инструменты конструирования реальности (проблематику, понятия, техники, методы), так и очень трудную критическую диспозицию, склонность безжалостно подвергать сомнению те инструменты, например, профессиональные таксономии Национального института статистических исследований и экономики (INSEE) или какие-то иные, которые не сваливаются с неба, не являются готовыми к использованию за пределами реальности.

Само собой разумеется, что — как в каждом отдельном случае — шансы этой педагогики на успех существенно различаются в зависимости от социально сконструированных диспозиций реципиентов. Наиболее благоприятной для её передачи оказывается ситуация с людьми, которые уже достигли успехов в овладении мастерством научной культуры и у которых в то же время есть определённый протест или дистанция по отношению к этой культуре (чаще всего коренящиеся в отстранённом опыте академического универсума), что побуждает их «не покупать её» по номинальной стоимости, или, ещё проще, это способствует своего рода сопротивлению стерилизованному и дематериализованному представлению о социальном мире, который предлагается доминирующим в социальном отношении социологическим дискурсом. Хорошей иллюстрацией этого является Аарон Сикурел: в молодости он достаточно долго находился в компании «преступников» в трущобах Лос-Анджелеса, чтобы спонтанно подойти к вопросу об официальной репрезентации «преступности».

Несомненно, что близкое знакомство с этим универсумом наряду с основательным знанием статистики и статистических практик подтолкнуло его к тому, чтобы задать относительно «преступности» такие статистические вопросы, которые не могли быть сформулированы с помощью каких бы то ни было методологических инструкций в мире (Сикурел, 1968). Рискую показать приближающим радикальное сомнение к его пункту разрыва, я бы снова хотел напомнить о самых пагубных формах, которые ленивое мышление может принимать в социологии. Я имею в виду тот весьма парадоксальный случай, когда критическая мысль, подобная марксовой функционирует в состоянии «не мысли» (*impense*) не только в сознании исследователей (и это относится как к защитникам, так и к критикам Маркса), но и в рамках самой реальности, которую они регистрируют как предмет чистого наблюдения.

Чтобы провести исследования о социальных классах без какой-либо последующей рефлексии — относительно их существования или не-существования, об их величине, о том, являются ли они антагонистическими или нет, — как часто делалось, особенно с целью дискредитации марксовой теории, надо, не думая, взять в качестве объекта остатки влияния, оказанного марксовой теорией в реальности, в частности, на деятельность партий и союзов, стремившихся «поднять классовое сознание».

Что я говорю об «эффекте теории»? То, что классовая теория может найти применение и что её «классовое сознание», измеряемое эмпирически, является отчасти продуктом, а также

определённой иллюстрацией более общего феномена. Благодаря существованию социальной науки и социальных практик, претендующих на сходство с этой наукой, таких как опросы общественного мнения, обсуждения в средствах массовой информации, публичность и так далее [43], а также педагогики и даже, всё чаще и чаще, руководства политиками, правительственными чиновниками, бизнесменами и журналистами, в рамках самого социального мира становится всё больше и больше агентов, имеющих отношение если не к научному, то к гуманитарному (академическому) знанию в своей практике или, что ещё важнее, в своей деятельности по созданию представлений о социальном мире и манипуляции этими представлениями. Так что наука подвергается всё большему риску непреднамеренной фиксации результата практик, претендующих на свою принадлежность к науке.

И наконец, что ещё более трудно уловимо, следование привычкам мышления, даже тем, которые в иных обстоятельствах могут весьма способствовать прорыву, также может привести к неожиданным формам легковерия. Я могу с уверенностью сказать, что марксизм — в своём самом общем социальном употреблении — часто представляет собой разновидность *par excellence* академического конструкта первого порядка, потому что он вне всяких подозрений. Давайте предположим, что мы собираемся изучать «правовую», «религиозную» или «профессорскую» идеологию. Само слово «идеология» означает, что нужно обозначить разрыв с представлениями, о которых агенты намереваются сообщать из своей собственной практики; оно означает, что мы не будем воспринимать их утверждения буквально, что у них есть свои интересы и так далее. Но бунтарское неистовство этого слова заставляет нас забыть, что господство, от которого следовало бы освободиться, чтобы объективировать его, воспринимается по большей части потому, что оно ошибочно признаётся в качестве такового. Поэтому оно заставляет нас забыть, что нам нужно вернуться обратно к научному моделированию того факта, что объективная репрезентация практики должна быть сконструирована вопреки первичному практическому опыту, или, если вы предпочитаете, что «объективная истина» этого опыта недоступна самому опыту. Маркс разрешает нам взломать двери доксы, докси-ческой верности первичному опыту. Но за этой дверью находятся ловушка и придурок, который, доверяя академическому здравому смыслу, забывает вернуться к первичному опыту, который научное конструирование должно взять в скобки и не учитывать. «Идеология» на самом деле сейчас нам было бы лучше начать называть её как-нибудь иначе) не появляется в качестве таковой для нас и для себя, это неправильное название, которое придаёт ей её символическую действенность.

В общем, недостаточно порвать только с обыденным здравым смыслом или с академическим здравым смыслом в их обычной форме. Мы должны также порвать с инструментами прорыва, которые отрицают сам опыт, по отношению к которому они были сконструированы. Это следует сделать, чтобы построить более совершенные модели, которые содержат как первоначальную наивность, так и объективную истину, которую эта наивность скрывает и на которой придурки — те, кто думают, что они значительнее других, — останавливаются, попадая в другую форму наивности. (Не могу удержаться и не сказать здесь, что глубокое переживание чувства значительности срывающего таинственные покровы демистификатора, исполнение роли избавившегося от чар и избавляющего от чар — решающий момент множества социологических занятий... И жертва, которую требуют за это строгие методы, становится всё большей и большей.)

Трудно переоценить трудности и опасности, когда начинаешь думать о социальном мире. Сила пред-сконструированного проявляется в том, что, будучи присущим вещам и сознаниям, оно представляет себя под вывеской самоочевидного, остающегося незамеченным, потому что оно, по определению, является само собой разумеющимся. Фактически для прорыва требуется конверсия взгляда, и о преподавании социологии можно сказать, что прежде всего оно должно «давать новые глаза», как иногда говорили первые философы. Задача — создать если не «нового человека», то, по крайней мере, «новый взгляд», социологический глаз. И это нельзя сделать без подлинного обращения, (а *metanoia*), ментальной революции, трансформации всего видения социального мира человека.

То, что называется «эпистемологическим прорывом» [44], то есть взятие в скобки обыденных конструкций первого порядка и принципов, обычно разрабатываемых для объяснения этих конструкций, часто предполагает разрыв со способами мышления, понятиями и методами, которые каждое проявление здравого смысла, обыденного смысла и полезного научного смысла (всего того, что в доминирующей позитивистской традиции почитается и освящается) считают существующими для них. Вы, конечно, понимаете, что когда кто-то убеждён, как я, что самая жизненно важная задача социальной науки, а значит, и обучения исследовательской работе в социальных науках — установление в качестве основополагающей нормы научной деятельности конверсию мышления, революцию взгляда, разрыв с конструктами первого порядка и со всем тем, что поддерживает их в социальном порядке и в научном порядке также, — то он обречён на то, что его всегда будут подозревать в обладании пророческим даром и в том, что он требует личного обращения.

Остро осознав именно социальные противоречия научного предприятия, по мере того как я пытался описывать его, рассматривая часть исследования и подвергая его критике, я часто вынужден задавать себе вопрос: не навязывал ли я критическое видение, которое мне кажется необходимым условием конструирования подлинного научного объекта, ударяясь в критику пред-сконструированного объекта, который всегда возникает подобно удару ниже пояса, как своего рода интеллектуальный *Anschluss!* (Слияние (нем.) — Прим. пер.).

Эта трудность становится всё более серьёзной, потому что в социальных науках, по крайней мере, по моему опыту, принцип ошибок почти всегда коренится как в социально сконструированных диспозициях, так и в социальных страхах и фантазиях. Так что часто бывает трудно высказать на публике критическое суждение, которое за пределами научной деятельности не затрагивало бы глубоких диспозиций габитуса, тесно связанных с социальными и этническими истоками, тендером, а также со степенью высшего академического посвящения.

Здесь я имею в виду преувеличенную скромность некоторых исследователей (чаще женщин, чем мужчин, или людей «скромного» социального положения, как мы иногда говорим), которая не менее фатальна, чем самонадеянность. По-моему, правильная позиция — это довольно редко встречающаяся комбинация определённых амбиций, вследствие чего появляются широкий взгляд и огромная скромность, совершенно необходимая для погружения во все детали объекта. Таким образом, руководителю исследования, который

действительно хочет выполнять свою функцию, было бы неплохо хотя бы иногда брать на себя роль духовника или гуру (по-французски мы говорим «руководителя сознания»), роль, которая довольно опасна и у которой нет оправданий, поскольку она возвращает человека к реальности, которую он «находит слишком большой» и постепенно воспитывает большие амбиции у тех, кто хотел бы спрятаться за скромными и лёгкими делами.

В сущности, самая большая помощь, которой начинающий исследователь может ждать от опыта, состоит в том, что при определении задач проекта у него появится больше смелости учитывать реальные условия его реализации, а именно средства, имеющиеся в его распоряжении (особенно в терминах времени и особой компетенции, которая определяется природой его социального опыта и обучения) и возможности доступа к информантам и информации, документам, источникам и так далее. Зачастую лишь в конце длительного процесса социоанализа, включающего целую последовательность фаз излишних облачений и разоблачений, может состояться идеальный матч между исследователем и его объектом.

Социология социологии, когда она принимает вполне конкретную форму социологии социолога, его научного проекта, его амбиций и недостатков, его смелости и страхов, — это не дополнение к его портрету и не своего рода нарциссическое излишество: осознание диспозиций, благоприятных или неблагоприятных, связанных с вашим социальным происхождением, академическим положением и полом, дают вам шанс, даже если и небольшой, овладеть этими диспозициями. Однако уловки социальных пульсаций бесчисленны, и, чтобы заниматься социологией своего собственного универсума, иногда может понадобиться совершенно иной, наиболее извращённый способ удовлетворения подавленных импульсов трудно уловимым окольным путём.

Например, бывший теолог, став социологом и проводя исследование теологов, может испытать своего рода регрессию и начать говорить как теолог или, что ещё хуже, использовать социологию как средство свести свои старые теологические счёты. То же самое и в отношении экс-философа: у него также будет риск найти в социологии философии скрытый способ ведения философских войн другими средствами.

V. Включённая объективация

То, что я назвал участвующей объективацией (которую не следует путать с включённым наблюдением) [45], — задача, несомненно, самая трудная из всех, поскольку она требует разрыва с глубокими и самыми бессознательными предрасположенностями и связями, которые довольно часто придают объекту в глазах тех, кто его изучает, подлинный интерес, — они пытаются понять, что все касающееся их отношения к объекту они, по крайней мере, хотят знать. Это самая трудная, но и самая необходимая задача, поскольку, как я пытался показать в «Homo academicus» (Bourdieu, 1988), процесс объективации в данном случае затрагивает весьма своеобразный объект, в рамки которого имплицитно включены некоторые из самых могущественных социальных детерминант, определяющих сами принципы понимания любого из возможных объектов: с одной стороны, особые интересы, обусловленные тем, что исследователь — член академического поля и занимает определённую позицию в этом поле; с другой стороны, социально сконструированные

категории восприятия академического и социального миров, те категории профессорского понимания, которые, как я говорил раньше, могут служить основанием эстетики (академического искусства) или эпистемологии (как в случае эпистемологии рессентимента, которая, сделав из нужды добродетель, всегда ценит мелочное благоразумие позитивистской строгости вопреки всем формам научной смелости).

Не пытаюсь сейчас объяснять все учения, которые рефлексивная социология может почерпнуть из такого анализа, я хотел бы указать только на одну из очень хорошо скрытых исходных предпосылок научного предприятия, которую работа над таким объектом заставляет меня раскрыть, а её непосредственный результат (подтверждающий, что социология социологии — необходимость, а не роскошь) — это лучшее знание самого объекта. На первом этапе моей работы я построил модель академического пространства как пространства позиций, связанных особыми отношениями силы, как поле сил и поле борьбы за сохранение или изменение этого силового поля. На этом я мог бы остановиться, но мои прошлые наблюдения в процессе моей этнографической работы в Алжире сделали меня восприимчивым к «эпистемоцентризму», ассоциирующемуся с академической точкой зрения.

Более того, я был вынужден оглянуться на своё исследование с чувством тревоги, переполнявшим меня; на публикацию — с чувством, что я совершил нечто предательское, сделав себя наблюдателем игры, в которую я ещё играл сам. Таким образом, я воспринял, в частности, резкую манеру, в которую было облечено требование занимать положение беспристрастного наблюдателя, одновременно вездесущего и невидимого, потому что он скрывался за абсолютной безличностью исследовательских процедур и тем самым мог принять квази-божественную точку зрения по отношению к своим коллегам, которые к тому же являются конкурентами. Объективируя претензию на царственную позицию, которая превращает социологию в оружие борьбы, внутренне присущей полю, вместо того чтобы быть инструментом познания этой борьбы, и таким образом познавая сам субъект, который независимо от того, что он делает, никогда не прекращает вести эту войну, я придумал способ введения в анализ осознания предпосылок и предрассудков, ассоциирующихся с локальной и локализованной точкой зрения того, кто конструирует пространство точек зрения.

Осознание границ объективистской объективации заставило меня понять, что в рамках социального мира и, в частности, в рамках академического мира существует целая сеть институтов, цель которых — сделать приемлемым разрыв между объективной истиной мира и живой истиной, заключающейся в том, что мы живём, и в том, что мы делаем в нём, — всё, что объективированные субъекты выносят на обсуждение, когда они противопоставляют объективистскому анализу идею, что «вещи вовсе не таковы». В таком случае там, например, существуют коллективные системы защиты, которые в универсумах, где каждый борется за монополию над рынком, где каждый покупатель в то же время конкурент и где жизнь поэтому слишком тяжела [46], дают нам возможность принять нас самих, принимая отговорки или компенсирующие вознаграждения, предлагаемые окружением. Это и есть двойная истина, объективная и субъективная, представляющая всю истину социального мира.

Хотя у меня и есть некоторые сомнения относительно того, стоит ли это делать, я всё же хотел бы привести в качестве заключительной иллюстрации презентацию, сделанную здесь недавно о послевыборных теледебатах [47], — объект, который в силу своей несомненной лёгкости (все касающееся его непосредственно дано в непосредственной интуиции), показал множество из тех трудностей, с которыми может столкнуться социолог. Как мы должны вести себя за пределами интеллектуального описания по отношению к такому типу (характера), который всегда изображается как «лишний в этом мире», как обычно говорил Маларме? На самом деле, существует большая опасность заново сформулировать на другом языке — тем, которым пользуются агенты, — то, что уже сказано или сделано, и выявить значения первого порядка (здесь есть и драматизм ожидания результатов, и борьба между участниками за значение результата и так далее) либо просто (или с помпой) идентифицировать значения, которые являются продуктом сознательных намерений и которые сами агенты могли бы сформулировать, если бы у них было время и если бы они не боялись дать шоу. Так как последнее они знают очень хорошо по крайней мере, из практики, а в настоящее время, всё чаще и осознавая это), то в ситуации, цель которой — произвести наиболее благоприятное впечатление своей собственной позицией, публичное признание неудачи как акта рекогниции, становится фактически невозможным. Они также знают, что цифры и их значения, собственно говоря, не являются универсальными «фактами» и что стратегия, суть которой состоит «в отрицании очевидного» (54 процента больше 46 процентов), хотя и явно обречена на провал, сохраняет известную степень валидности (партия X победила, однако партия У, в сущности, не проиграла: X победил, но не так чисто, как на предыдущих выборах, или с меньшим запасом, чем предсказывалось, и так далее).

Но разве это то, что действительно имеет значение? Проблема разрыва поднимается здесь в особой тишине, потому что аналитик включён в рамки объекта его или её конкурентов при интерпретации объекта, и эти конкуренты тоже могут испытывать потребность в авторитете науки. Она поднимается в наиболее острой форме, потому что в отличие от того, что происходит в других науках, одно лишь описание, даже конструированное описание (когда берутся одни лишь релевантные черты) не имеет такой внутренней ценности, которая предполагается в случае описания тайной ритуальной церемонии у индейцев Хопи или коронации средневекового короля: сцену видели и понимали на определённом уровне и до определённого момента) 20 миллионов телезрителей, а её запись даёт такую выборку, с которой никакое позитивистское переложение не в силах состязаться.

Фактически мы не сможем уйти от бесконечных, опровергающих друг друга интерпретаций — герменевт вовлечён в борьбу между герменевтами, которые конкурируют друг с другом за последнее слово относительно феномена или результата — до тех пор, пока мы действительно не сконструируем пространство объективных отношений (структуру), в рамках которого непосредственно наблюдаемые нами коммуникационные обмены (интеракция) не будут не чем иным, как их проявлением. Задача заключается в том, чтобы понять скрытую реальность, которая маскируется, разоблачаясь, и которая предлагает себя наблюдателю лишь в анекдотичной форме интеракции, скрывающей её. Что всё это значит? У нас перед глазами — ряд индивидов, обозначенных фамилиями: господин Амар — журналист, господин Ремон — историк, господин N. — политолог и так далее, которые, как мы считаем, обмениваются высказываниями, которые, вполне понятно, могут быть подвергнуты «дискурсивному анализу» и где все видимые «интеракции», очевидно,

предоставляют все необходимые средства для их собственного анализа. Но, по сути дела, сцена, которую объясняли по телевидению, стратегии, которые агенты применяли, чтобы победить в символической борьбе за монополию вынесения вердикта, за признанную возможность говорить правду о предмете спора, являются выражением объективных отношений силы между вовлечёнными в них агентами, или, если быть более точным, между различными полями, частью которых они являются и в которых они занимают позиции разного ранга. Другими словами, интеракция — это видимое и исключительно феноменальное следствие пересечения иерархически упорядоченных полей.

Пространство интеракции функционирует как ситуации лингвистического рынка, и мы можем раскрыть принципы, лежащие в основе его конъюнктурных свойств [48]. Прежде всего оно включает пред-сконструированное пространство: социальная композиция групп участников определяется заранее. Для того чтобы понимать, что можно говорить, а особенно, что нельзя говорить на съёмочной площадке, нужно знать законы формирования группы говорящих — кто не допускается, а кто исключает сам себя. Самая радикальная цензура — это отсутствие. Таким образом, мы должны учитывать коэффициенты репрезентации (в статистическом и социальном смысле) различных категорий (пол, возраст, профессия, образование и так далее), а следовательно, и шансы доступа к речи, которые определяются измерением частоты, с которой каждый использовал этот доступ. Вторая характеристика следующая: журналист обладает своего рода властью (конъюнктурной, но не структурной) над пространством игры, которое он сконструировал и в котором он находится в роли судьи, выдвигающего нормы «объективности» и «нейтральности».

Мы не можем, однако, остановиться на этом. Пространство интеракции — это локус, где происходят пересечения нескольких различных полей. В их борьбе за то, чтобы навязать свою «беспристрастную» интерпретацию, то есть чтобы заставить зрителей признать свой взгляд объективным, в распоряжении агентов есть ресурсы, определяющиеся их принадлежностью к объективным иерархически упорядоченным полям и их позицией в соответствующих полях. Во-первых, у нас есть политическое поле (Бурдьё, 1981): так как они непосредственно вовлечены в игру, а значит, непосредственно заинтересованы и рассматриваются в качестве таковых, политики сразу же воспринимаются как судьи и подсудимые и поэтому их всегда подозревают в том, что они предлагают предвзятые, пристрастные, а потому не вызывающие доверия интерпретации. Они занимают разные позиции в политическом поле: они размещаются в этом пространстве в соответствии со своей принадлежностью к партии, а также с их статусом в партии, их известностью на местном и национальном уровне, их общественной привлекательностью и так далее. Затем у нас есть журналистское поле: журналисты могут и должны заимствовать риторику объективности и нейтральности при поддержке политологов, когда это требуется. Далее, у нас есть поле «политической науки», в котором «информирующие политологи» занимают скорее непривлекательную позицию, даже если довольны высоким внешним престижем, особенно среди журналистов, над которыми они структурно доминируют. Следующее поле — поле политического рынка, представленное рекламодателями и консультантами СМИ, которые украшают свои оценки политиков «научными» подтверждениями. И, наконец, собственно университетское поле, представленное специалистами в области электоральной истории, создавшими такую специальность, как комментирование результатов выборов. Как

видим, поля варьируются от самых «ангажированных» до самых «беспристрастных» как в структурном отношении, так и по части соответствия закону: академик — это тот, кто отличается самой большой «непредусмотрительностью» и «независимостью». И когда дело доходит до создания риторики объективности, которая оказывается настолько эффективной, насколько это возможно, — как в случае с этими после-электоральными новыми программами, — то учёный пользуется структурным преимуществом перед другими.

Дискурсивные стратегии различных агентов и, в частности, весь арсенал риторики, цель которых — создание фасада объективности, будут зависеть от равновесия символических сил между различными полями и от особых ресурсов этих полей, которые гарантируют различным участникам принадлежность к этим полям. Другими словами, они будут зависеть от специфических интересов и характерных средств, которыми обладают участники в этой особой символической борьбе за «нейтральный» вердикт и которыми определяется их позиция в системе невидимых отношений, складывающихся между различными полями, в рамках которых они действуют. Например, у политолога как такового будет преимущество перед политиком и журналистом по той причине, что его гораздо легче признать объективным и потому что у него есть выбор относительно применения своей особой компетенции, состоящей в обладании знанием электоральной истории, нужной для того, чтобы делать сравнения. Он может объединиться с журналистом, притязания на объективность которого получают тем самым подкрепление и легитимность (обоснование и законную силу). Результатом всех этих объективных отношений оказываются отношения символической власти, проявляющиеся в интеракции в форме риторических стратегий. Именно этими объективными отношениями руководствуется по большей части тот, кто обрывает других, задаёт вопросы, долго говорит без остановки и не обращает внимания на попытки прервать его, и так далее, кто обречён пользоваться стратегиями подтверждения (интересов или небескорыстных стратегий) или ритуальным отказом отвечать, стереотипными формулами и так далее. Нам нужно двигаться дальше, чтобы показать, каким образом введение в анализ объективных структур позволяет нам объяснить детали дискурса и риторических стратегий, сложностей и противоречий, эффективных и неэффективных действий — короче говоря, всего того, что, с точки зрения дискурсивного анализа, можно понять на основе одного лишь дискурса.

Но почему анализ особенно труден в таком случае? Очевидно потому, что те, кого социолог собирается объективировать, — конкуренты за монополию в сфере объективной объективации.

Фактически в зависимости от того, какой объект он изучает, сам социолог более или менее дистанцирован от агентов и предметов, которые он исследует, более или менее непосредственно вовлечён в соперничество с ними и, следовательно, в большей или меньшей степени подвергается соблазну вступить в игру метадискурса под видом объективности. Когда игра в анализ под видом анализа) — как в нашем случае — состоит в передаче метадискурса относительно всех других дискурсов тем политикам, которые бодро заявляют о победе на выборах, журналистам, претендующим на то, чтобы дать объективную информацию о распределении кандидатов, «политологам» и специалистам по электоральной истории, претендующим на то, чтобы предложить нам объективное объяснение результата путём сравнения случайностей и общих тенденций с прошлыми или

нынешними статистическими данными, — одним словом, когда эта игра состоит в том, чтобы поставить себя с помощью приставки мета — над игрой благодаря исключительной силе дискурса, возникает соблазн использовать научные стратегии, разрабатываемые различными агентами, чтобы гарантировать победу их «правде», чтобы говорить о правдивости игры и таким образом обеспечить вам победу в игре. Это пока ещё объективная связь (отношение) между политической социологией и «ориентированной на СМИ политологией» или ещё точнее, между позициями, которые наблюдатели и наблюдаемый занимают в соответствующих, объективно иерархизированных полях, определяющих восприятие наблюдателя, в частности, заставляя его закрыть на что-то глаза, что говорит о его собственных небескорыстных интересах.

Объективация отношения социолога к его или её объекту, как можно хорошо видеть на этом примере, — необходимое условие того, чтобы покончить со склонностью инвестировать в свой объект, которая, несомненно, лежит в основании «заинтересованности» в объекте. Следовало бы, в некотором смысле, отказаться от использования науки для вмешательства в объект, чтобы быть в состоянии осуществлять объективацию, которая является не просто частичным и упрощённым мнением, могущим возникнуть у другого (их) игрока (ов) в процессе игры, но которая, скорее, оказывается всеохватывающим представлением об игре, которая может быть понята в качестве таковой на определённом расстоянии от неё. Только социология социологии — и социолога — может помочь нам в определённом достижении социальных целей, которых можно добиваться с помощью научных целей, к которым мы непосредственно стремимся. Включённая объективация, — есть основания думать, высшая форма социологического искусства, — осуществима только в том смысле, что она основывается настолько полно, насколько это возможно, на объективации интереса к объективации, проявляющейся как в факте участия, так и вынесения за скобки этого интереса и представлений, которые им поддерживаются.

Примечания

1 См. Bourdieu (1987), где даётся исторический анализ символической революции, приводящей к появлению импрессионистской живописи во Франции XIX века.

2 Уильям Сьюэлл (1980. — р. 19–39) даёт детальное историческое толкование понятия *metier*-ремесло при старом режиме. Его сжатую характеристику корпоративного языка во Франции XVIII века стоит процитировать, поскольку она содержит два ключевых измерения понятия ремесло социолога в понимании Бурдьё: «Профессионалов-ремесленников можно определить как людей, находящихся в точке пересечения области ручного труда и области искусства и интеллекта».

3 См. некролог, написанный Бурдьё в «Le Mond» (1983e) в связи с неожиданной смертью Гофмана. См. также Boltanski (1974).

4 См. дискуссию Бурдьё (1968b) в работе «Структурализм и теория социологического знания», где он выражает свою признательность и говорит о своих отличиях от структурализма как социальной эпистемологии.

5 См. Бурдьё (1990а). Коннертон (1989) выдвигает эффективную и немногословную защиту этой аргументации; см. также Джексон (1989. Глава 8).

6 См. Кюн (1970), Латур и Вулгар (1979). В этом вопросе его поддерживают также Роуз (1987) и Трэвик (1989). Дональд Шон (1983) показывает в своей работе «Рефлексирующий практик» («Reflective Practitioner»), что профессионалы (в менеджменте, инженерном деле, архитектуре, городском планировании и психотерапии) знают больше, чем они могут выразить словами; как компетентные практики они «применяют разновидность знания и к опыту, которое по большей части является невыразимым» и полагаются на импровизацию, которой они научаются скорее на собственном опыте, чем на основе выученных в высшей школе формул.

7 См. Бурдьё (1990g) и Брюбэкер (1989а), где теория Бурдьё анализируется в качестве действующего научного габитуса.

8 Английское слово «эссе» (essay) не равнозначно слегка уничижительной коннотации французского слова «диссертация» (dissertation) как пустого и беспричинного дискурса.

9 См. Парсонс (Parsons, 1937), Александер (Alexander, 1980–1982; 1985) и работу Александера (Alexander, 1987b) «Двадцать лекций» («Twenty Lectures»), которая появилась в результате неоднократно прочитанного студентам курса лекций.

10 Для дальнейшего разъяснения см. Bourdieu (1988e). Поллак бегло анализирует работы Лазарсфельда с целью экспортирования позитивистской социальной науки — правил и институтов — за пределы Соединённых Штатов.

11 У Кольмана (1990) можно найти материал, изобилующий биографическими реминисценциями по поводу этих двух полюсов в социологии Колумбийского университета, о восстановлении между ними дружеских отношений и взаимной легитимации в 1950-е годы.

12 См. анализ Бурдьё (1990d) дискурсивного взаимодействия между продавцами и покупателями домов и для контраста сравните его структурный конструктивизм с непосредственным интеракционистским дискурсом — аналитическая основа Щеглова (1987).

13 «Дайте молоток ребёнку, — предупреждает А. Каплан (1964. — р. 112), — и вы увидите всё то, что всё покажется ему достойным, чтобы ударить по нему». Вполне уместно здесь обсуждение Э. Хюгесом (1984) «методологического этноцентризма».

14 Читатель узнает здесь известный французский девиз мая 1968 года — «запрещено запрещать».

15 Для более глубокого понимания см. Бурдьё (1985а, 1987b, 1989е). Бурдьё использует работу логика П. Ф. Страусона (1959) для обоснования своей реляционистской концепции социального пространства и эпистемологического статуса индивидов в нём.

16 Структурным эквивалентом для Соединённых Штатов могло бы быть нечто подобное «проекту, посвящённому членам банды южной окраины Чикаго».

17 О поисках локуса власти см. работу Р. Даля (1961) «Кто правит?», а также дебаты по поводу структуры общинной власти — взгляд «сверху». Взгляд «снизу» представлен традицией проктологической историографии и современной антропологии (Скотт, 1985). О локусе лингвистического изменения см. Лабов (1980).

18 О поле власти см. Бурдьё (1989а), а также часть 1 раздела 3 данной работы; о столкновении между «художниками» и «буржуазией» в конце XIX века во Франции см. Бурдьё (1983d; 1988d), а также Шарль (1987).

19 Французские *Grandes écoles* — это элитные высшие школы, стоящие особняком от обычной университетской системы. К ним относятся: Национальная высшая школа администрации (*Ecole nationale d'administration, ENA*), которая готовит высших гражданских служащих, открыта в 1945 году; Высшая коммерческая школа (*Ecole des hautes études commerciales, HEC*), созданная в 1881 году, которая готовит администраторов и экспертов по бизнесу; Политехническая школа (*École Polytechnique*) и Центральная школа (*Ecole Centrale*) — для инженеров, открытые в 1794 году; и Высшая педагогическая школа, которая готовит преподавателей и университетских профессоров. Поступление в эти школы осуществляется на основе очень строгих конкурсных экзаменов после 4-летнего специального послешкольного обучения.

20 Пьер Бурдьё окончил Высшую нормальную школу (выпускников которой называют во Франции *normalien*) в 1954 году, на три года позже Фуко, на год раньше Жака Дерриды и одновременно с историком Ле Руа Ладюри и теоретиком литературы Жераром Женеттом.

21 См. Бурдьё (1971b) и «Дьявол Максвелла: структура и генезис религиозного поля» в работе Бурдьё [а], которая должна скоро выйти.

22 Сходным образом Шарль (1990) показал, что «интеллектуалы» в качестве современной социальной группы, схемы восприятия и политической категории — недавнее «изобретение», которое возникло во Франции в конце XIX века и приняло определённую форму в процессе дела Дрейфуса. Для него, так же как и для Бурдьё (1989d), следствием неразборчивого применения данного понятия к мыслителям и писателям прежних времён оказывается либо анахронизм, либо современный анализ, который заканчивается непониманием исторической неповторимости «интеллектуалов».

23 По-французски это будет *science demi-savante*.

24 Превосходным примером могут служить исследования поля бедности в США, появление которых было во многом побочным следствием «войны с бедностью» в 1960-е годы и вытекавших из неё требований государства к изучению проблематики бездомных. Под влиянием Комитета экономических возможностей (*Office of Economic Opportunity*) новое официальное определение проблемы способствовало тому, что существовавшая прежде социально-политическая проблема превратилась в общепризнанную сферу «научного» исследования, в результате десятки учёных — особенно экономисты — были привлечены к

работе в новых исследовательских центрах, журналах, на конференциях, посвящённых проблеме бедности и её общественному регулированию, что, в конечном счёте, привело к институционализации высоко технической (и в высшей степени идеологической) дисциплины «анализ публичной политики». Следствием появления этой дисциплины стало не только некритичное принятие социальными учёными бюрократических категорий и проводимых правительством измерительных процедур (типа известной федеральной «прямой бедности», продолжающей определять границы дискурса, несмотря на то, что довольно часто она оказывается всё в большей степени концептуально непригодной), но также и их тревог не заставит ли получение пособия бедняков меньше работать? разделяют ли получатели общественной помощи культурные ценности или они ведут себя, нарушая «главные» нормы? каковы самые экономичные средства, чтобы сделать их «самодостаточными», то есть социально и политически невидимыми?), которые реифицировали моральное и индивидуалистическое восприятие бедности, превратив её по преимуществу в «научные факты» (Катц, 1989: 112, 23). Хэвмэн (1987) приводит наглядное подтверждение того, как в этом процессе федеральное правительство меняет и само лицо социальной науки *in toto*: в 1980 году исследования по бедности поглотили, по меньшей мере, 30 процентов от общей суммы, выделенной на все федеральные исследования по сравнению с 6 процентов в 1960 году. Нынешнее распространение дискурса «на низшие слои населения» — хорошая иллюстрация того, как значительные денежные поступления от фондов могут заново определить предмет социальной научной дискуссии без какого бы то ни было критического обсуждения предпосылок нового заказа.

25 Кроме того, это хорошо видно и по изменениям категорий, используемых для классификации книг в обзорном журнале «Современная социология», и по изменениям заголовков глав в справочниках (например, Смелзер, 1988), и в статьях энциклопедий социальной науки. Классификация тем в «Социологическом ежегоднике» («Annual Review of sociology») — хороший пример смешения повседневных, бюрократических и весьма произвольных подразделений, пришедших из (академической) истории дисциплины: редко кто может ретроспективно придать некую (социо) логическую последовательность направлению, к которому он относит предмет своего исследования. Открывает любой том категория «Теория и методы», как всегда, превращающаяся в отдельную самостоятельную тему. Затем идут «Социальные процессы» — категория настолько широкая, что трудно, представить то, что в неё не попадает; «Институты и культура» — тема, которая превращает культуру в отдельный объект. Почему «Формальные организации» были отделены от «Политической и экономической социологии» — непонятно; то, как они, в свою очередь, отличаются от «Стратификации и дифференциации», — тоже дело спорное. У «Исторической социологии» есть сомнительная привилегия быть выделенной в отдельную специальность. (Предположительно, на основе метода, но тогда почему бы её не объединить с «Теорией и методами» и почему у других подходов нет «своих секций?») Почему именно «Социология мировой религии» имеет заголовок, общий для всей социологии, — загадка. «Политика» — прямое след-... ствие заказа бюрократического государства на социальное знание. И увенчивающей все другие категории в своём освящении здравого смысла является рубрика «Индивид и общество».

26 См. соответственно Ленуар (1980), Болтански (1979), Гарригу (1988), Бурдьё (1977а. р. 36–38, 188), и Сайяд (1985).

27 Хотя позиция Бурдьё может показаться сходной с «социально-конструктивистским» подходом к социальным проблемам (Шнайдер, 1985; Гусфильд, 1981; Спектор и Кщусе, 1987), она существенно отличается от последней тем, что основание социального процесса символического и организационного конструирования она видит в объективной структуре социальных пространств, в рамках которого это конструирование и происходит. Это обоснование работает на уровне позиций и диспозиций тех, кто создаёт, и тех, кто принимает это утверждение. Бурдьё является сторонником не «строгой», или «контекстуальной» конструктивистской позиции (определение которой даёт Бест, 1989. — р. 245–289), а «структурного конструктивизма», который причинно связывает процесс создания утверждений и их продуктов с объективными условиями. См. Шампань (1990) в связи с анализом социального конструирования «общественного мнения» в рамках этих направлений.

28 Кристин Люкер (1984) и Фэй Гинзбург (1988) предлагают детальные исторические и этнографические описания социального конструирования аборта как общественной проблемы на политическом и массовом уровне. У Поллака (1988а) можно найти анализ общественного конструирования связи между СПИДом и гомосексуализмом в современном французском политическом дискурсе. Болтански освещает условия эффективности стратегии, цель которой — превратить персональные инциденты и нарушения в социально признанные вопросы и несправедливости в своей важной статье о «Разоблачении» (Болтански, Дарэ, Шильтц, 1984; Болтански, 1990).

29 См. весь выпуск за март 1990 года журнала «Учёные труды в социальных науках» («Actes de la recherche en sciences sociales»), посвящённый «экономике жилья» («The Economics of Housing») (Бурдьё, 1990b, 1990c, 1990d; Бурдьё и Де сен Мартэн, 1990; Бурдьё и Кристин, 1990).

30 В тексте это тоже по-английски: здесь Бурдьё играет словами «grants» (гранты) и «for granted» (само собой разумеющееся), чтобы подчеркнуть органическую связь между материальным и когнитивным пересечением проблематики.

31 С тех пор как опросы общественного мнения появились во французской политической жизни, Бурдьё был усердным, а зачастую и едким критиком их социального назначения. Его статья 1971 года с провокационным названием «Общественное мнение не существует» (Бурдьё, 1979e) была перепечатана во многих сборниках и журналах и переведена на 6 языков. Эта проблема снова поднималась в работе «Наука без учёного» (Бурдьё, 1987а. — р. 217–224). 32 Или, по выражению Витгенштейна (1977. — р. 18): «Язык расставляет всем одну и ту же ловушку; это огромная сеть легко доступных ошибочных поворотов». Этот взгляд разделял Элиас (1978. — р. 111), который считал «наследуемые структуры речи и мысли» одной из самых серьёзных помех для науки об обществе: «Средства мышления и речи, доступные в настоящее время социологам, по большей части не соответствуют задаче, которую им следует решить». Вслед за Бенджамином Ли Уорфом он, в частности, отмечал, что западные языки стремятся актуализировать имена существительные и объекты за счёт отношений и свести процессы к статическим состояниям.

32 Другим примером может быть бюрократическое введение и последующая реификация «прямой бедности» в социальной «науке» Соединённых Штатов (Бигли, 1984; Катц, 1989. — р. 115-117).

33 Морис Хальбвакс (1972. — р. 329-348) уже давно показал, что нет ничего «естественного» в категории возраста. Пиалу (1978), Тевено (1979), Можер и Фоссе-Поллиак (1983) и Бурдьё (1980b. — р. 143-154) в своей работе «Молодёжь есть не что иное, как слово» разрабатывают этот аргумент в случае с молодёжью. Шампань (1979) и Ленуар (1978) применяют его в социально-политическом конструировании понятия «пожилые». Бесчисленные исторические исследования тендерных отношений продемонстрировали в последние годы произвольность категорий «мужской» и «женский»; возможно, самым впечатляющим из всех является исследование Джоан Скотт (1988); см. также несколько статей, опубликованных в двух выпусках «Учёные труды в социальных науках» («Actes de la recherche en sciences sociales») относительно категорий «мужской/женский» (июнь и сентябрь 1990). Более широкую дискуссию о борьбе за определение «естественных» категорий см. Ленуар (Шампань, 1979. — р. 61-77).

34 См. два выпуска «Учёные труды в социальных науках» («Actes de recherche en science sociales») по праву и легальным экспертам, № 64 (сентябрь 1986) и № 76-77 (март 1989, особенно статьи Ива Дизали, Алана Банко и Энн Буажеоль).

35 Понятие поля объясняется подробно в 2 части раздела 3 настоящей работы. См. Болтански (1984 и 1987) для глубокого изучения организационного и символического создания категории «кадры» во французском обществе; см. также Шарль (1990), который писал об интеллектуалах по тем же самым аналитическим направлениям.

36 Например, Сартр господствовал и в свою очередь испытывал своё собственное господство во французском интеллектуальном поле 1950-х годов (см. Бошетти, 1988; Бурдьё, 1980, 1984).

37 Энергичные усилия Питера Росси (1989. — р. 11-13) покончить с произвольным в социальном смысле определением «бездомности», встречающимся в «научных» исследованиях, — хороший пример позитивистского простодушия, известного слепотой к своим собственным исходным предпосылкам (включая предпосылки о существовании своего рода платонической сущности бездомности). Вместо того чтобы (как минимум) показать, как различные определения создают разной величины населения, композиции и траектории, и вместо того чтобы проанализировать политические и научные интересы, которые выражает точка зрения, противоположная их собственной, Росси довольствуется тем, что отстаивает *ex cathedra* своё определение, приспособленное к существующим данным и предубеждениям. В своей борьбе за «операционализацию» понятия, заимствованного из повседневного дискурса, которая осуществляется таким образом, что повседневный дискурс не только не подвергается сомнению, но получает подкрепление, Росси стремится достичь соответствия с обыденным здравым смыслом, с научным здравым смыслом и с практическими ограничениями бюрократического обследования. Он не объясняет ничего такого, что «легко позволило бы увязнуть в академических экзерсисах по части определений»: «Я воспользуюсь определением бездомности, которое скрывает сущность

этого термина и которое к тому же удобно использовать в реальном исследовании. Хотя моё окончательное мнение состоит в том, что бездомность — это вопрос степени, я вынужден использовать самое распространённое в социально-научных исследованиях определение бездомности, на которое я опираюсь... Есть несколько весьма убедительных логических причин, по которым большинство исследований о бездомных практически приняли это определение». Конструирование— хотя в данном случае уместнее было бы говорить о разрушении — его объекта не сопровождается ни какими-то видимыми артикуляциями феномена, ни теоретической проблематикой его причин и различий. Оно завершается созданием «довольно узкого определения, которое, по сути дела, заимствует и ратифицирует определение государственной бюрократии, чей интерес в нормализации и минимизации феномена подробно документирован: он сосредоточен главным образом на наиболее доступных из бездомных, клиентах агентств типа приютов, столовых, медицинских клиник, которые предназначены для бездомных». Это конструирование исключает всех тех, кого государство не хочет считать настоящими бездомными (обитателей госпиталей, тюрем, платных интернатов для престарелых и всех «не имеющих надёжного пристанища»), включая людей, вынужденных арендовать или временно пользоваться комнатами в жилище своих родителей, друзей и так далее) Позитивистское проявление изобретательности достигает своей высшей точки, когда Росси заменяет обыденную, повседневную категорию «бездомности» современным «социологическим выражением» (Мертон) «крайняя бедность», которая определяется здесь в том же самом значении самоочевидности (и той же самой самоуверенной произвольности), как всех тех, имеющих доход ниже 75 процентов от «официальной черты бедности», — другого бюрократического конструкта. Таким образом, бездомность и бедность превращаются из социально-политического состояния — системы исторических отношений и категорий, являющихся следствием борьбы за производство и размещение социального богатства, — в состояние, измеряемое с помощью точных и ясных мельчайших переменных, позволяющих считать, делить и дисциплинировать индивидов.

38 О последних изменениях социального определения и функций легальных экспертов см. Дизали (1989); о борьбе за право определять, кто является писателем во Франции XVII века, см. Виала (1985); о трудностях с признанием женщин-писателей в качестве таковых см. де Сен Мартэн (1990).

39 Дальнейшую дискуссию см. часть 2 раздела 1 настоящей работы. Не трудно понять, как такой консерватизм может, при определённых исторических условиях, превратиться в свою противоположность, что и показал Кэлхаун (1979) своей ревизионистской критикой Томпсоновского анализа возникновения английского рабочего класса; докситическое мировоззрение, то есть не задающая вопросов, унифицированная культурная традиция, может, будучи поставлена под сомнение, выработать когнитивные механизмы, необходимые для радикального коллективного действия.

40 Используя имя Мольеровского врача, который говорит на вычурном и неправильном латинском в «Le Bourgeois gentilhomme».

41 Эта точка зрения развивается полнее в работах Бурдьё (1986).

42 Об использовании социальной науки и псевдосоциальной науки в «новом политическом пространстве» Франции см. Шампань [1988, 1990].

43 Понятие «эпистемологический прорыв» (так же, как понятие «эпистемологический профиль»), которое многие англо-американские читатели ассоциируют с именем Альтюссера (или Фуко), обязано своим происхождением Гастону Башляру, и оно весьма широко использовалось Бурдьё задолго до структуралистского марксизма (центральный статус это понятие приобрело в работе Бурдьё, Шамборедона и Пассерона (1973), первоначально опубликованной в 1968 году).

44 Об этом понятии см. работы Бурдьё «Практический смысл» (Бурдьё, 1990), «Ното academicus» (Бурдьё, 1988), Бурдьё (1978) и часть 2 раздела 1 данной работы.

45 Это то, что Бурдьё (1985) называет «рынком ограниченного производства» в отличие от «генерализованного рынка», где культурные процедуры подчиняют свою деятельность публике в целом.

46 Всякий раз в ночь национальных выборов главные телеканалы Франции устраивают специальные программы, где известные политики, политологи, журналисты и политические комментаторы интерпретируют и обсуждают предполагаемые результаты голосования и их значение для политического развития в стране. Такие программы почти универсально опознаются французскими телезрителями и представляют собой всё более влиятельное средство политического действия.

47 Понятие «лингвистический рынок» объясняется в работе Бурдьё (1990) и в данной работе — часть 2 раздела 5.

Версия #3

Зверобой создал 18 января 2026 03:47:35

Зверобой обновил 18 января 2026 04:06:34